Е. ПЕЧАТКИНА

ПЕТР ИВАНЫЧ

РАССКАЗЫ

САН ФРАНЦИСКО
1 9 6 1

Е. ПЕЧАТКИНА

ПЕТР ИВАНЫЧ

РАССКАЗЫ

САН ФРАНЦИСКО
1961

Издание книжного магазина «Слово». — Сан Франциско

Отпечатано в тип. Г. Бутова — Мюнхен

БЛАЖЕННЫ ВСЕ, ОБОЙДЕННЫЕ ЖИЗНЬЮ. ПОД ИХ РУБИЩЕМ СКРЫВАЮТСЯ ЛЮБОПЫТНЫЕ ДУХОВНЫЕ ЦЕННОСТИ.

Е. П.

Петр Иваныч

Петр Иваныч вышел из приемной доктора. Его лицо то вспыхивало румянцем, то вдруг бледнело. Ни на кого не глядя, нагнув голову и опустив плечи, он неуклюже шагал, тяжело передвигая ноги, как будто они были тысячелетние.

И по походке и по всему внешнему виду ему безусловно можно было дать больше шестидесяти. Он знал, что выглядит старше своих лет, но это не беспокоило его, а наоборот, даже веселило. И вот сейчас, подумав об этом, он усмехнулся.

«Ведь не такие еще годы, чтоб» . . .

Но вспомнив сердитое лицо доктора, поставившего диагноз, Петр Иваныч нервно повел плечами.

«Что же, может быть, он и прав: я очень ослаб, недуг пожирает все мои жизненные соки. Но все же как жестоко-откровенны стали современные врачи! — сокрушенно покачал он головой: — В прежнее время, Боже упаси, сказать больному прямо в глаза, что у него что-нибудь неизлечимое. А теперь . . . Так грямо и бухнул: рак, мол, — и все! Безо всяких обиняков».

Петр Иваныч опять жалко усмехнулся и поежился, как будто ему было неловко за неделикатность доктора.

«Мне, конечно, что ж? Мне то ничего, ну а на другого это могло б и подействовать. Впрочем, может быть он так посту-

пил потому, что я сказал, что одинок и никого родных у меня нет. Мэри, конечно, никак не должна знать, что я хожу к доктору. Зачем? Лишние неприятности — и больше ничего. Пусть до последней минуты ничего не знает. Ни она и никто вообще... Рак! Скажите пожалуйста! — опять повел он плечами: — Ужас, сколько людей умирает от этой гадости».

Он жалостливо поцокал языком, как бы сокрушаясь за все человечество и нервно снял очки. Его близорукие глаза невидяще мягко скользнули по витрине магазина, где манекен, кокетливо отставив ногу, жеманно разглядывал пальцы собственной руки. Запустив руку в карман брюк, Петр Иваныч задумчиво потянул оттуда носовой платок. Из его кармана выпал обрезок веревочки и мятая конфетная бумажка. Ничего не замечая, наталкиваясь на прохожих, он шел как будто на этой людной улице никого, кроме него не было.

— Н-да... — опять покачал он головой, протирая очки сильно затасканным платком. От грязного платка стекла очков равномерно тускнели: — Н-да... Предполагается, что врачи — это самые гуманные люди. Отречение от себя, служение человечеству... Пожалуй, со стороны доктора все же было не совсем хорошо так прямо сказать... Ах, много нехорошего на этом свете! — тяжело вздохнул Петр Иваныч: — А все от нашего же несовершенства. Человек сам по себе уж очень нехорош, грязен. Самые высокие, чистые идеи, проходя сквозь него, загрязняются, теряют свою красоту, окрашиваясь в так называемый «человеческий» цвет. Плотской оттенок... А с другой стороны, даже самые низшие чувства отдаленно имеют духовного прародителя. Значит все зависит от нас же самих, и на свете, de facto, нет ничего плохого!

Петр Иваныч даже подпрыгнул от радостного умозаключения.

— Природа сама по себе совершенна. В ней все прекрасно! Вот как сегодняшнее небо, ясное, без единого облачка.

Он взглянул вверх и улыбнулся, обнажая ровные, белые зубы. От улыбки его лицо ожило, а добрые интеллигентные глаза весело окинули улицу.

— Ах, вон и сосед идет! — увидел он изящно, с иголочки, одетого мужчину.

— Далеко ли направились? — приветливо крикнул ему Петр Иваныч.

— А! Петр Иваныч! Как поживаете? Что это вы бледный какой? — участливо спросил сосед, останавливаясь, чтобы поздороваться.

— Поживаю я великолепно! Лучше всех, как говорится! И чувствую я себя превосходно. Что мне делается? А бледный я . . . не знаю, с чего бы?

Вдруг от внезапно пришедшей мысли он лукаво подмигнул и, наклонившись к уху соседа, значительно прошептал:

— Девочки замучили. Вот отчего и бледный! Ха-ха!

Петр Иваныч лихо перевернулся на каблуках и хлопнул себя по бедрам.

— Разве? — недоверчиво промямлил сосед, косым взглядом окинув неопрятную фигуру Петра Иваныча: — Я . . .

— Вы знаете, — перебил его Петр Иваныч, — женщина, если захочет, может прямо в могилу свести человека. Правда ведь?

— Не знаю . . . У меня не достаточно в этом опыта, — ответил сосед, холодным взглядом крепко запирая свои чувства.

— О, вы много теряете! — Петр Иваныч ухарски нахлобучил шляпу набекрень: — Женщины . . . м-м-м . . . знаете, это — цимис жизни. Они могут перевернуть все ваше мировоззрение — сами диву дадитесь. А вы что так вырядились? Тоже наверно к красотке на свидание идете? Ха-ха!

Петр Иваныч двусмысленно подтолкнул соседа локтем.

— Нет, я . . .

— Я со свидания, а вы на свидание, — покатываясь со смеху, опять перебил его Петр Иваныч. Он как будто боялся паузы, которая опять могла вернуть разговор к его нездоро-

вому виду, или еще хуже, могла вызвать естественный вопрос о жене, а Петр Иваныч меньше всего знал, где она сейчас и что делает. Ответишь невпопад — поднимет сосед на смех, чего доброго . . .

— Вот здорово! — хохотал Петр Иваныч: — Одна на понедельник, другая на вторник, третья . . .

— Вы извините меня, я спешу. До свидания! — холодно простился сосед.

— До свидания, до свидания! Смотрите, легче на поворотах. Ха-ха! — не унимаясь, кричал ему вслед Петр Иваныч.

Он проводил его глазами, пока сосед совсем не скрылся за углом. Тогда, тяжело вздохнув, он выправил шляпу и прежней тяжелой, старческой походкой двинулся к своему дому.

На миг ему немножко стало неловко за свое актерское кривлянье перед соседом. Он даже слегка передернулся от физической брезгливости к тому фантастическому Петру Иванычу, которого он так естественно разыграл минуту назад. Но тотчас же он себя ободрил:

— Так лучше. Не раскрывать же, в самом деле, своей души перед каждым встречным. Душа у меня, как говорит Мэри, мрачная, тяжелая . . .

Петр Иваныч вступил в переднюю своего дома. Тут он долго старательно тер ноги о половик, прежде чем войти в хорошо обставленную гостиную, всю в коврах, со многими ненужными вещицами, уютно разбросанными тут и там. В камине были аккуратно приготовлены дрова, и тут же стояли два карточных столика. На каждом из них лежала нераспечатанная колода карт, вазочка с монпансье и орехами.

«Гости будут», — высунул Петр Иваныч язык. А лицо его приняло испуганное выражение. Он быстрым движением содрал с головы помятую, потерявшую вид шляпу и на цыпочках ступил на ковер.

«Чистоту надо уважать, — оправдывался он перед самим собой, как бы стараясь в чем то себя убедить, — чистота внешняя — признак внутреннего» . . .

— Ах, Петр, ты опять ходишь по гостиной в своих грязных башмаках! — неожиданно раздалось откуда то из внутренней двери: — Опять мне подтирать за тобой!

Петр Иваныч, как под ударом хлыста, вздрогнул и быстро, по юношески, обернулся. В угловой комнате через гостиную, утонув в плюшевом, матово-зеленом, кресле, сидела очень привлекательная женщина.

— Ах, здравствуй, Мэри! — подобострастно, каким то чужим голосом, пробормотал Петр Иваныч: — Нет, нет, Мэри, я не оставил следов. Я очень хорошо вытер ноги. Я долго их тер! Я правду говорю.

— Сколько раз я тебя просила снимать башмаки, когда идешь через гостиную, — продолжала Мэри.

— Нет, нет! Ничего, ничего! — лепетал Петр Иваныч: — Я их тер, я очень тер. Честное слово! — оправдывался он перед женой, которая вся в кружевах и в кресле цвета морской волны, походила на нимфу, выглянувшую на будничный Божий свет.

«Чорт знает, какая действительно идеальная чистота вокруг! — тем временем думал он: — До безобразия, до неприличия чисто».

Но сейчас же сам себя одернул за такие фривольные мысли:

«Я виноват. Я, конечно, виноват» . . .

В течение всех пятнадцати лет супружества он всегда чувствовал себя виноватым перед женой. Прежде всего за то, что не оправдал ее надежд и не дал ей, самолюбивой и гордой, ни положения, ни денег. Пятнадцать лет назад он казался ей таким многообещающим человеком; на деле же оказался непрактичным, далеким от жизни, беспочвенным мечтателем. И за то, что он не смог из свих духовных данных извлечь житейской пользы, стать в угоду жене, в крайнем случае, хотя бы изобретателем, Петр Иваныч всю жизнь чувствовал себя виноватым.

А сейчас это чувство просто выпирало из него. Глядя в надменное, полное бразгливости лицо жены, этой вышедшей

из морской пены женщине, он еще более сжался и чувствовал себя не то дворником, не то приживальщиком. Наконец, виноватость переполнила его и, совсем растерявшись, он поднял одну ногу и самоотверженно провел ладонью по подошве действительно весьма затасканного штиблета.

— Смотри, Мэри: правда — совсем чистые, — провинившимся голосом бормотал он.

— В кухне возьми сандвич с ветчиной и термос с кофеем, — холодно бросила Мэри, с откровенным презрением захлопывая дверь.

— Да, да, я понимаю: у тебя сегодня покер, и ты не хочешь, чтоб я спускался сюда. Хорошо, ты сегодня меня больше не увидишь, я обещаю.

Его давно уже никто не слушал, но он все стоял и, почтительно наклонив голову, мял в руках свою совершенно невозможную шляпу.

— Я, конечно, в кинематограф, дорогая! — сказал он и пошел к дверям направо. Делая большие шаги и стараясь ступать только на темные рисунки красивого ковра, чтобы миновать распластанные по нему нежной расцветки розы, он шел приниженной, разбитой походкой. Только оказавшись в передней, на простом полу, он встал твердо обеими ногами.

— Я надел чистую рубашку, — осмелев, громко крикнул он по направлению к закрытой двери, хотя можно было с уверенностью сказать, что его никто не слышал, и значительный факт перемены им белья остался никем не отмеченным.

По узкой лестнице Петр Иваныч поднялся на второй этаж, открыл еще какие то двери и, минуя сваленные в кучу доски, садовые инструменты и сундуки, нащупал в темноте ручку и вошел в низкую, невероятно заставленную вещами, комнату.

Тут был и ободранный диван, и выцветшее, старомодное кресло, и подзорная труба, и прожектор, громоздившиеся на столе, и складная высокая лестница, и много мелких вещей без названия, все в прошлом, без всякого вида в настоящем. Все эти вещи были бездумно разбросаны на стульях и на

столе. Кровати с первого взгляда не было даже видно из-за ящиков, стоявших один на другом прямо в проходе.

Хотя день еще не сказал своего последнего «прости», в этой комнате уже было сумрачно, и пришлось повернуть выключатель.

— Опять я ввернул этот кинематограф, — с презрением к самому себе поежился Петр Иваныч, не глядя, бросая шляпу в сторону, на груду не то ковров, не то старого платья. В кинематографе я за всю жизнь может быть всего то и был раз десять, да и то много: терпеть не могу этого дешевого представления. Но почему я всегда на себя вру? Почему у меня не хватает смелости говорить правду? Но как объяснишь Мэри, что я хожу к морю, к скалам; что люблю общество цветов, деревьев, всего, через что слушаешь природу? Она, ведь, не поймет. А морской прибой, настраивающий на думы о величии мироздания? Он чужд ей и далек, как загадочная Венера. А ведь есть что то общее между морем и космосом. Начало в одном и конец в другом.. Море — намек на величие вселенной, часть которой заключена в нем. Море и небо — круг движения в природе. А сближение с природой приводит в движение и умственный аппарат, заставляя его работать в области фантазии . . . Получается круговорот мысли.

Привычно перешагнув через ящики, Петр Иваныч подошел к окну. Тут, по обе стороны были навалены книги. Было очевидно, что приготовленные ящики предназначались для будущих, так сказать, книжных полок, часть которых уже была сделана у окна.

Раздвинув грязную, порваную занавеску, Петр Иваныч просветленным взглядом посмотрел на небо. Расплывшиеся тончайшими лохматыми нитями облака делали небо волосатым. И среди этой волосатости едва начинал различаться Марс.

«320.000.000 километров разделяет нас с тобой, — подумал Петр Иваныч, вглядываясь в красноватую поверхность планеты: — Вот излучаешь ты свой свет и с ним несешь в про-

странство и всю свою историю... А если б я сейчас смог уйти из этого дома и оказаться где-нибудь в межпланетном пространстве, то сам, своими глазами, через отражаемый землею свет, мог бы увидеть всю ее прошлую жизнь, жизнь нашей жалкой, бедной земли. Как величественно, что жизнь навеки запечатлена в бесконечности, в пространстве, в Боге... Будущее — в настоящем, равно как и прошлое. И то, что я сейчас сделаю, тоже уже включено в настоящее, уже существует»...

Петр Иваныч отошел от окна, снял очки, устало окинул глазами свою жалкую комнату. Потом прошел к столу, вырвал листок из какой то тетрадки и мелким, неразборчивым почерком написал:

«Я страшно устал от всего. Я потерялся, мне не за что зацепиться. Я ухожу из жизни потому, что неизлечимо болен, и будет лучше, если я умру сейчас, пока еще никого не обременяю. Во-вторых, я ухожу потому, что никому не нужен вообще. Мэри! Я люблю тебя попрежнему, как 15 лет назад, и мне очень грустно жить. Не знаю, поймешь ли ты меня. Прости за беспокойство».

Петр Иваныч не подписался и не поставил даты. Держа в руках записку, он задумался.

«Хотелось бы уйти от земли, слиться с Богом... Чтобы ничто нас с Ним не разделяло. Бог и я... А вдруг Бога нет? А если и есть, то дело ли Ему до меня, мизерной песчинки во вселенной?»

Петр Иваныч широко открыл глаза, как будто хотел глубже заглянуть в сокровенную тайну мироздания. Неподвижно смотрел он прямо перед собой, на грязные тряпки, наваленные на кровати, на всю ту рухлядь, что была в комнате, но глаза его не запечатлевали этого жалкого окружения. Духовными очами он видел что то, что нельзя передать словами, нельзя подогнать под какое-нибудь из пяти органов чувств.

«Если б человек мог жить вне времени и пространства, он остался бы молодым. Мэри страшно изменилась за последнее

время. Не только внешне... Мы потеряли общий язык. Но он ведь был! Был! Где же мы его затеряли? Когда? Куда он ушел? Сегодня у нее покер, завтра коктейль... А ведь пустоту, т. е. ничто, можно сгустить, обратить в нечто. Сгустить до различаемого голубоватого цвета. Голубой нуль. Хм! Концентрированная пустота... Будет ли от этого она более пустой или менее пустой?»

Петр Иваныч провел рукой по лбу и машинально засунул в карман записку, которую до тех пор все держал в руке.

Он приоткрыл дверь. Внизу уже собирались гости, и невнятно были слышны их голоса, без слов, просто как шум прибоя. Там, в малодоступной для него гостиной, были люди. Они сидели в мягких креслах, в тепло натопленной комнате, ели конфеты, говорили всякий вздор... Любопытный, другой мир...

Петр Иваныч вышел из комнаты и, воровски пригибаясь, спустился на один пролет. Перегнувшись через перила, он стал прислушиваться. Голоса тут были слышней, можно было разобрать отдельные слова.

— Вы, наверно, очень ревнивы, Марья Николаевна, — говорил какой то мягкий женский голос, — вы всегда прячете от нас своего мужа.

— А я даже никогда его и не видела, — говорила другая, — и признаться, при первом знакомстве я думала, что вы одинокая. Только не была уверена: разведенная вы или вдова.

Дама рассмеялась своей собственной остроте, и ее смех тотчас же подхватили другие, и он раскатился по гостиной как будто кто то в железный лист бросил горсть мелких камешков.

— Он ушел в кинематограф, — остановил бегущие камешки холодный голос Мэри.

— Но и в прошлый раз, когда мы у вас были, он тоже был в кинематографе, — не унимался первый голос, на этот раз слегка окрашенный недоверием.

— О, он страстный любитель кинематографа, — уверенно парировала удар Мэри: — Два, три раза в неделю он уж обязательно в театре. А сегодня к тому же такой интересный фильм идет у нас по соседству, участвует Барримор.

Петр Иваныч быстро вбежал наверх и захлопнул дверь.

— Вязанье из лжи...

Он провел рукой по лицу.

— Мы все сотканы из лжи. Ею прикрываемся, ею спасаемся. Лжем, чтобы спасти, лжем, чтобы утопить...

У него вдруг засосало под ложечкой.

— Опять эта боль! — болезненно поморщился он: — Надо бы поесть чего-нибудь: когда поешь, боль как будто утихает. Сходить за сандвичом? Мэри, кажется, сказала, что сандвич с ветчиной. Свинины мне, правда, нельзя. Кофе тоже... Лучше бы молока попить... Мэри всегда приготовляет то, чего мне нельзя. Но ведь она же не знает! — мысленно заступился он за жену: — Разве можно ее винить? Ничего не знает, ничего... И не узнает никогда! — с несвойственной решимостью сказал он сам себе и опять раздвинул занавеску на окне.

Прямо перед ним на небе ярко выделялось созвездие Ориона. Он улыбнулся. Его лицо, смягченное сгущающимися сумерками, помолодело, стало лучезарным, чем то сродни и небу и Ориону.

И Петр Иваныч совсем забыл о только что сунутой в задний карман записке.

А на утро, наскоро одевшись, он быстро бежал из своей чердачной комнаты в кухню. Он опять проспал. Ночью были боли в желудке, и плохо спалось. Времени для завтрака не осталось и, схватив со сковородки больше часу назад жареные блинчики, он наскоро обмакнул их в сироп и, небрежно обернув бумажной салфеткой, сунул в карман брюк.

Уже выбежав на улицу, он вдруг вспомнил, что давно обещал конторским барышням слив из своего сада. Он вернулся.

Давно поспевшие сливы тяжело свисали с веток небольшого дерева, как бы тяготясь своей зрелостью. Петр Иваныч

наскоро нарвал десятка два крупных малиновых слив и поспешно рассовал их по всем карманам, вместе с бумажником, носовым платком, веревочками, блинчиками, отверткой, которая всегда (на всякий случай) была тоже в кармане.

— Пусть барышни побалуются сладеньким, — заливался он ласковой улыбкой, машинально вытирая липкие пальцы о борт пиджака.

С топорщащимися карманами, запыхавшийся и встрепанный, входил он в контору.

От быстрой ходьбы снова засосало под ложечкой.

«Рачок зашевелился», — пытался он шутить, на минуту закрывая глаза от боли. Но сделав над собой усилие, наскоро нацепил на губы улыбку и быстро, как двадцатилетний, влетел в отделение машинисток. Разбрасывая направо и налево стандартные фразы приветствия, он стал вытаскивать из карманов обмякшие и частично уже раздавленные фрукты.

— Здравствуйте, здравствуйте! Доброе утро! Доброе для меня, для вас, для всех. Погода хорошая. Все живы-здоровы; жизнь прекрасна! Кушайте фрукты, в них масса витаминов. Самые спелые, только что с дерева, самые витаминные. Витамины натощак — здорово! — говорил он без остановки, как нанятый диктор, как будто хотел заговорить неприятно ноющую боль в желудке. Хорошо бы вообще совсем уйти от самого себя, забыть о своем существовании. Да разве он уже не забыл о себе? Разве этот лохматый, со съехавшим на бок галстуком и шутовской маской на лице, — был он, Петр Иваныч, вдумчивый, болезненный архивариус? Конечно нет! Это был пустенький, глуповатый шалопай.

— Вот счастливица! — говорил он аккуратной, тонко загримированной машинистке: — Вам неожиданно повезло: досталась морковка прямо с огорода.

Наскоро выдернув страничку из записной книжки, он торжественно выложил из кармана грязную, с неосыпавшейся землей, морковку.

— Я совсем забыл о ней: позавчера вырыл с огорода. Кушайте, счастливица. Щечки будут как розанчики, — плоско шутил он: — Витамины! Сегодня бесплатно раздаются всем витамины.

Не замечая, что из одного его кармана течет сладкий сок от сунутых туда блинчиков; не видя сдержанных насмешливых улыбок тех самых барышень, которым он от всей души хотел сделать что то приятное, он бегал от стола к столу, сыпал комплиментами, дешевыми остротами.

— У вас синяки под глазами, — заметил ему кто то, — вы плохо спали?

— Плохо? Ха-ха! Еще бы не плохо! Совсем не спал!

И вдруг, сделав какой то отчаянный пируэт, он таинственным шопотом добавил:

— Кутил до утра! Собралась, знаете ли, у нас вчера компашка . . . Ну и того . . . Конечно, не без женщин, — многозначительно подмигнул он, — поверите ли: половину ящика виски выдули, — фантазировал он: — Я вообще могу выпить невероятно много. Честное слово! Только на другой день (вот как сегодня) сказывается. Конечно, много зависит и от марки виски. Есть такие марки . . .

Его уже давно не слушали, а он все продолжал на себя навирать, разыгрывать шута. А потом, окончательно всем надоев пустым разговором, да устав и сам от своей собственной болтовни, он почти убегал в свое отделение, в свой архив.

Напускная жизнерадостность, положенная наскоро, сверху, тут легко соскакивала и обнажала тоску. Усевшись в уголок, освобожденный от фальши, от всей балаганщины, им же самим состряпанной, он комом падал в действительность. Сбросив личину, он делался жалким, болезненно согнувшимся стариком. Глаза его, только минуту назад задорно блестевшие, тускнели. Один на один с собой Петр Иваныч не боялся быть естественным. Он уронил на руки голову и задумался.

«Мэри сейчас встала . . . Говорит по телефону со своими подругами, делится впечатлениями о вчерашнем, вместе про-

веденном вечере: кто сколько выиграл, кто сколько проиграл... Потом сядет вышивать свои нескончаемые салфеточки; бегло просмотрит модный журнал... Самый близкий человек! Самый близкий и... такой далекий».

Петр Иваныч едва досидел до положенного часа в конторе: сегодня ему было совсем нехорошо. Боль под ложечкой не прекращалась. По нервным ниточкам она передавалась и на грудь, ударяла в голову. Он с трудом передвигал ноги, когда шел со службы домой.

«Какое скверное устройство: все соединено вместе, — думал он, — соединено в одно целое, нераздельное... И тело и душа... Нет, нет, пусть душа будет сама по себе! Пусть тело ноет, а душа поет! Сквозь физические стоны я заставлю ее петь. Вон, как чудесно небо! А этот серо-розовый закат напоминает платье, в котором Мэри была на балу, когда я впервые ее встретил. Розовое, покрытое серым газом. Она была очаровательна, воздушна, небесна... Я влюбился с первого взгляда. Тогда невозможно было и представить, что за лучезарной небесностью, за наивной красотой могут скрываться корни черствости, через несколько лет развившиеся в бессердечность, превратившиеся в острый, зубчатый эгоизм, колющий каждый раз, когда протягиваешь руку к ее толстому сердцу. Кто знал? Разве можно заранее определить, как будет выглядеть то дерево, что посажено сегодня под окном? Своей тенью оно может совсем закрыть свет, своей массой задавить соседние хрупкие розы. Но как знать? Может быть ничего этого не будет? Эгоизм в природе очень силен, но он также дает и право на существование. Кто сильнее, тот и возьмет. Ты меня задавила, Мэри. Ну, что ж! Бери! Я скроюсь и буду смотреть на жизнь из щелочки... А ты живи широко, жирно, шумно... Я ведь даже и не люблю резких звуков. Они больно бьют по моим слуховым нервам, что ведут прямо в сердце, и тогда делается так больно... Больно за тебя, за твою вульгарность и... за свое доверие, за свою втуне ушедшую молодость и нежные чувства, с ней связанные».

Петр Иваныч совсем перегнулся вперед от боли в желудке. Казалось, что в согнутом положении боль менее чувствительна.

«Хорошо было б сейчас чего-нибудь перекусить».

Он вспомнил о припрятанных блинчиках. Бумажная салфетка, в которую они были завернуты, прилипла к пузырьку с сонными пилюлями. Петр Иваныч отколупнул кусочек затвердевшего, сладкого теста и сунул в рот. Потом стал очищать пузырек от липкой бумаги. Долго старательно отколупывал, а потом открыл пузырек, высыпал все пилюли на ладонь и, остановившись посередине улицы, стал рассматривать эти розовые, радужные шарики. Потом посмотрел на небо, на людей вокруг, спешащих домой к своим семьям, улыбнулся легкой, интеллигентной улыбкой и высыпал полную ладонь с пилюлями в рот. Он чуть не задохнулся. Стал искать, где бы выпить воды.

Ноги Петра Иваныча дрожали, когда он ступил на крыльцо своего дома. Он долго не решался открыть двери: ведь чтобы пройти к себе на чердак, надо было опять проходить через запретную гостиную, такую невероятно чистую, устланную дорогими коврами.

Наконец, решившись, он вошел. В квартире было тихо и прохладно. Вот и гостиная... Нигде никого нет. Петр Иваныч невольно с облегчением вздохнул: эта прохладная и уютная комната сейчас так влекла его, усталого, больного. Его охватила страшная слабость, казалось, не одолеть ему сейчас высокой, крутой лестницы чердака.

«Посижу-ка я здесь пять минуточек, — подумал он, устало падая на бирюзовый диван с кружевными дорожками на спинке и на ручках: — Только пять минуточек! Передохну, а потом... поплетусь к себе».

Когда его жена вернулась, она так и застала его сидящим на диване и склонившим голову, как бы уснувшим. Первое, что она заметила, это сползшее со спинки дивана кружево. Петр Иваныч даже наполовину придавил его собой. Глаза Мэри, привыкшие к симметрии, аккуратности, сразу замети-

ли этот беспорядок, нарушающий стройный вид всей гостиной.

— Ах, Петр, — всплеснула она руками, — опять ты мне все здесь перепачкал! В своем грязном пиджаке и — прямо на диван! Вставай! Это не место для спанья.

Она сильно тряхнула его за плечо.

Но разбудить Петра Иваныча ей не удалось. Он умер от разрыва сердца — это было так ясно, что у доктора даже не возникло и сомнения. А когда его стали приготовлять к погребению, то в заднем кармане брюк была найдена грязная, со следами варенья, бумажка, которая начиналась словами:

«Я страшно устал от всего. Я потерялся, мне не за что зацепиться. Я. . .»

Дальше ничего нельзя было разобрать: все было страшно замусолено. Да и разбирать не стоило труда: так, ничего нестоющая бумажка. В этом же кармане у Петра Иваныча были и старые календарные листочки, и четвертушки использованных «входящих» и «исходящих», и всякий другой хлам. Перебирать каждую бумажку не было смысла.

Скоропостижная смерть Петра Иваныча всех удивила. Провожавшие его тело знакомые качали головами и сдержанно критиковали его беспутный образ жизни, который, конечно, и привел такого здорового и жизнерадостного, к неожиданному концу. Критиковали, качали головами, но сожаления об его уходе в вечность не высказывали: так, какой то никчемный, пустой был человек!

Зато все в один голос душевно жалели бедную Мэри, милую, умную и прекрасную во всех отношениях женщину, столь несправедливо настрадавшуюся со своим бесславным и недалеким мужем . . .

Это было в сочельник

Моросил туман. В этот рождественский сочельник в городе стояла настоящая калифорнийская зима.

Хлюпая подошвами, насвистывая вальс из «Веселой вдовы», Лежанов быстро и легко шел по мокрому тротуару. Сегодня он был счастлив, сегодня он принял определенное решение. Конечно, в сорок лет трудно отказаться от многих привычек, менять весь образ жизни. Но одиночество стало угнетать его, а Надин была хорошей, неизбалованной, русской женщиной. Лежанов именно так и сказал ей, гуляя вчера по парку. Надин вспыхнула от этих слов.

— Что вы, — чуть слышно прошептали ее губы и, стараясь спрятать от Лежанова свое смущенное лицо, она внимательно стала следить за плавающими по пруду черными лебедями.

Лежанов ценил в женщинах скромность и застенчивость, и ему было особенно приятно, что несмотря на все испытания жизни, Надин сохранила эти качества. А испытать ей пришлось немало, когда овдовев в 20 лет, с пятимесячным ребенком на руках ей пришлось со всей неопытностью своих лет окунуться в жизненный водоворот. Лежанов был особенно рад, что даже тяжелая, полная всяких соблазнов, жизнь в Америке не испортила нравственного облика Надин. Даже крашеные платиновые волосы и яркая губная помада ее не

портили, она оставалась простой и обаятельной среди откровенно вульгарных американок.

Лежанов переменил насвистыванье «Веселой вдовы» на «Марш деревянных солдатиков» и вдруг вспомнил, что за все два месяца знакомства с Надин он ничего не знает об ее девочке.

«Стесняется ... Надо бы самому навести ее на эту тему: ведь всякой матери приятно говорить о своем ребенке, а я, мужлан, не догадался!»

Лежанов уже не сомневался, что усыновит никогда им невиданного ребенка и полюбит его, как своего родного.

«О, мы прекрасно заживем втроем!» — радостно улыбнулся он мутному пространству вокруг. И хорошо, что именно сегодня он принял решение сделать Надин предложение. Сегодня, в рождественский сочельник. Так много приятных воспоминаний связано с этим днем: семья, елка, подарки ... Полон самых радужных надежд Лежанов решил зайти в игрушечный магазин.

Чем может интересоваться пятилетнее существо женского пола?

Лежанов неуверенно похаживал мимо паровозов, велосипедов, кукол, больших и маленьких, сидящих и стоящих, в недоумении расставивших руки, с застывшим вопросом на пухлых губах и немигающих глазах.

— Вы интересуетесь куклами? — предупредительно заговорила продавщица.

— Куклами ... Да, конечно. У девочек обычно много кукол. Вот эту, пожалуй, с голубыми глазами и туго завитыми волосами. Совсем, как у Надин ... И с таким же, как у нее, блестящим ярким ртом и подведенными ресницами ... Конечно, эта кукла похожа на Надин. Только, пожалуй, пополнее. А Надин надо быть худенькой, чтобы отплясывать свои часы в третьесортном кафе. Сегодня же скажу ей, что мне не нравится ее профессия. Сегодня я буду иметь право сказать это ... Куклу? Ах, да, да ... Я беру эту куклу. И еще... что-нибудь для девочки пяти лет. Пожалуй, действительно,

хорошую коляску. Посадить куклу в коляску и привезти. Недурная идея!

Сверток едва поместился подмышкой. Нести было неудобно.

«Как бы не раздавить футляр с кольцом для Надин. Ага! Конфеты переложу в карман справа, а футляр в задний карман — так легче».

Оглядывая счастливыми глазами прохожих, тоже спешащих с рождественскими подарками домой, к своим семьям, Лежанов устремился в молочную массу тумана. Он не шел, а плыл, преисполненный самых нежных чувств и наилучших стремлений. Так античные вазы, будучи наполнены водой, начинают издавать тонкий аромат, который легкими клубами обволакивает вазу тайной стройного химического сочетания, претворяя ее в чудесный драгоценный сосуд.

Лежанов повернул направо к небольшому двухъэтажному дому. Сюда он два раза провожал Надин из ее кафе, где она работает танцовщицей.

Он знал, что она придет позднее, но ему хотелось до ее прихода разложить пакеты на крыльце, у самой двери.

«Как придет, так сразу же и увидит. А сам встану за углом» . . .

Улыбаясь своей затее, он стал писать записку.

Вдруг до его слуха донесся неистовый детский плач. Лежанов внимательно осмотрел безмолвные прямоугольные дома, стараясь определить, откуда раздается плач, на который повидимому никто не обращал внимания. Наконец, обойдя дом со двора, он увидел на лестнице второго этажа маленького мальчика в синих до полу штанишках и полосатой фуфайке.

— Тетя, тетя! Отвори! А-а-а-а! Отвори, я тебе говорю! — по-русски кричал мальчик, топая при этом ногами и сердито колотя кулаками по запертой двери. Дверь никто не открывал и, изнемогая от крика, прямо доходя до отчаяния, мальчик только сильнее плакал.

Лежанов любил детей и не мог выносить их плача, а это, вдобавок еще, был русский мальчик. Подойдя ближе, он его окликнул:

— Мальчик, а мальчик! Почему ты плачешь?

Мальчик моментально присмирел и, заглядывая вниз на незнакомого мужчину, обиженно ответил:

— Я не мальчик, я — девочка.

— А, девочка... Почему же ты здесь одна? Тебя, наверно, наказали. Что ты напроказила? А? Говори?

— Я не проказила, — смело ответила девочка, — а они ушли в киматограф, а меня оставили.

— Кто они? Твои мама и папа?

— Нет, чужая тетя. Мама на работе.

— А ты сама где живешь?

— Вон там, — и она указала на квартиру Надин, — но мамы нет дома. Она сказала, чтобы я сидела у тети наверху, пока сама придет, а к тете пришел дядя, и они ушли в киматограф, — оживленно докладывала девочка.

У Лежанова сжалось сердце: неужели это и есть дочь Надин? Девочка тем временем сбежала вниз и уже стояла рядом с ним.. Это была грязная, неопрятная девочка. Ее короткие стриженые волосы свалялись, как будто не были чесаны несколько дней. Синие штанишки были прорваны на коленках, а фуфаечка, ввиду отсутствия пуговиц, в двух местах была схвачена английскими булавками.

— Меня зовут Ниной, а вы кто такой? — развязно начала она, острыми карими глазками рассматривая Лежанова, — у вас красивая цепочка какая.

И она грязным пальцем ткнула Лежанова в жилет.

— Как зовут твою маму?

— Надин.

— То-есть... ты хочешь сказать... А фамилия твоя — Воронина? — растерялся Лежанов.

— Ха-ха! — весело рассмеялась девочка, показывая острые обгрызанные зубки: — Ты угадал. Пойдем к нам в гости!

— Нина схватила Лежанова за руку: — Только у нас заперто, но ты большой, можешь влезть в окно. Я есть хочу.

Решительно вцепившись в руку Лежанова, она повела его к своему дому.

Лезть в окно Лежанов отказался, а предложил это проделеть самой Нине:

— Ты отопри мне дверь, а я пойду купить тебе чего-нибудь поесть.

Когда через несколько минут Лежанов со свертками в руках входил в квартиру Надин, он старался представить себе ее удивленное лицо, с которым через полчаса она войдет и будет выслушивать рассказ его оригинального знакомства с ее дочкой. С каким юмором он будет передавать детали, связанные с приготовлением яичницы; как он едва отыскал сковородку, оказавшуюся в спальне на ночном столике. И конечно, он будет много говорить о ее чумазой дочурке, которая сейчас, вскарабкавшись с ногами на стул, с жадностью пила молоко, держа стакан обеими руками и ела яичницу-глазунью, оставляя ее следы на всем своем личике. Она, видимо, совсем не была избалована и с аппетитом ела все, что приготовил чужой дядя. Ела и щебетала, не переставая. Она успела ему рассказать и о черной тете, которая чуть ли не каждый день ходит в кинематограф и бросает ее на крыльце, потому что боится пожаров; и о матери, которую она почти не видит и которая, по ее мнению, тоже целый день сидит в кинематографе. Она, видимо, считала, что у взрослых нет никакого другого интереса в жизни, как только ходить в кинематограф.

Когда Нина вылизала последнюю каплю молока, Лежанов вытащил из кармана большое румяное яблоко.

— Это тебе на дессерт, — сказал он.

Нина решительно ничему не удивлялась и все принимала, как должное.

— Ты любишь яблоки? — безразлично спросил Лежанов, сам думая: отдать подарки сейчас, или же подождать Надин.

— Люблю. Я еще печенье люблю. Такие, кругленькие. — Она сделала маленький кружочек из большого и указательного пальца и поднесла его к самому лицу Лежанова. Она, конечно, была уверена, что чужой дядя не спроста ее кормит и что он сейчас же сорвется с места и побежит покупать для нее кругленькое печенье.

Но дядя не понял ее намека и молча наблюдал, как она, уже сытая, шалила с соседним стулом, стараясь забраться ногами на самую его спинку.

— Потом еще варенье люблю . . . — продолжала она припоминать разные вкусности. Хотела еще что-нибудь придумать, но не хватало воображения, а может быть, забыла. И силясь вспомнить, она, надув губы, мусолила надкусанное яблоко о свою полосатую фуфайку. К надкусу уже давно пристали грязные зеленые шерстинки, но есть ей не хотелось, и она все катала и катала яблоко по груди, от подбородка до живота, где уже начинались сине-серые штанишки.

Лежанов в душе удивлялся, что она его нисколько не боится, а наоборот, чувствует себя с ним, как будто была давно знакома.

— А ты не боишься меня? — неожиданно для самого себя спросил он.

— А ты разве дерешься? — спокойно спросила Нина, рассматривая его лицо, — Пит дрался. И Надин бил и меня.

— Какой Пит?

— Мериканец. Он к нам ходил. Богатый! Он мне игрушки дарил. А Надин Мимишку подарил. Хотите покажу?

И не дожидаясь ответа, она соскочила со стула и побежала вглубь квартиры, крича: «Мимишка, Мимишка! Куда ты спряталась?»

Через минуту она, обняв яблоком, тащила рыжую японскую собачку. Собака была со сна, сопела и недоверчиво косилась на Лежанова своими круглыми на выкате глазами.

Лежанов, не двигаясь, сидел у стола и вяло смотрел, как грязная девочка тыкала яблоком в морду собаки.

— Кто такой Пит? — придушенно наконец повторил он, — почему он бил маму?

— А пьяница он! Как напьется, так и дерется. Бо-огатый зато! Обедать нас в ресторан водил. Папа-Сережа не такой был. Он не дрался, но зато бедный. Всегда у нас обедал.

— Кто такой папа-Сережа? — едва слышно спросил Лежанов.

— А это не настоящий папа. Он только так хотел, чтобы я его называла. Он уже давно к нам не ходит, — успокоила Нина. И чтобы сделать нахмурившемуся дяде приятное, подбежала к нему и поцеловала его своими яичными губами, и, повиснув у него на шее, вдруг заискивающе проронила:

— Папа . . .

А сама испытующе смотрела на него, и с боязнью и с лукавством.

— Почему ты меня назвала папой? — грубо отстранил Лежанов девочку, — я тебе не папа.

— Ха-ха-ха! Я нечаянно, т. е. я . . . нарочно . . . я . . . — запуталась Нина. Недоверчиво оглядев Лежанова, она с серьезной миной отошла к сопевшей под плитой и что-то чавкавшей «Мимишке».

Опустив голову на руки, Лежанов продолжал сидеть у стола. Пред его глазами вдруг встала другая Надин. Не созданная его воображением, а настоящая, с крашеными кудрями и губами, оставляющими оранжевые пятна на носовом платке.

«Многого я не замечал . . . Да, она умеет ориентироваться в жизни. Себялюбивое, красивое животное».

Вдруг ему показалось диким сидеть в чужой квартире с чужим ребенком: ведь с минуты на минуту могла прийти сюда эта женщина, которую называют Надин. Он резко встал со стула. Нина, уткнувшись лицом в рыжую шерсть дегенеративной собаке, мирно спала в кресле. Лежанов взял спящую девочку и отнес в спальню. С грязными, потерявшими цвет, ботинками он положил ее прямо на кричащую голубым атласом кровать, покрытую сверху дорогим кружевом:

«Кто ей подарил это? Майк? Ник?» . . .

Со смешанным чувством брезгливости и жалости он в последний раз взглянул на разоблачившего свою мать неопрятного ребенка и вышел из квартиры.

На крыльце с праздничной торжественностью выжидательно стояли пакеты с белевшей на них любовно составленной запиской. Лежанов сердито сорвал ее и, зябко подняв воротник пиджака, съежившись от назойливого тумана, вяло зашагал к своей холостой меблированной комнате с правом пользования кухней.

Его серый пиджак и шляпа быстро покрылись мелкими капельками. С бухты «Золотые ворота» уныло доносился плач сирены. В этот рождественский сочельник в городе стояла настоящая калифорнийская зима.

Шуба

Шипя и отдуваясь парами, поезд подкатил к перрону. Вся толпа, давя друг друга и пуская в ход не только локти, но подчас и кулаки, бросилась к вагонам. Крики отдавленных смешивались с ругательствами, тяжелыми вздохами, призывами к Богу.

Елизавета Семеновна, изнемогая под тяжестью мешков, туго набитых грустными остатками славного прошлого, невольно подхваченная справа и слева, тоже устремилась к поезду. Вот она, худенькая и маленькая, общим напором поднятая вверх, на момент даже отделилась от земли. Мешки, в которые она судорожно вцепилась, давили ее тощую грудь; она широко, как рыба, попавшая на берег, раскрыла рот, чтобы вдохнуть острый морозный воздух.

— Господи, помоги! Только б не задавили на смерть!

Но вот чей то энергичный локоть боксерским приемом сдвинул мужскую фигуру впереди. Елизавета Семеновна с облегчением опять ощутила твердую почву под ногами, но в следующий же момент тот же локоть поддал ей в подбородок, и она с ужасом увидела, что отступает назад.

— Нет, нет, не уступлю! Ни за что! Хоть мертвой да попаду на этот раз! Ой, батюшки! Да за что, за что же старуху бить?

— А ты чего вперед всех лезешь? — грубо ответил крупный парень в поддевке: — Думаешь, что старая, так все те-

бе должны дорогу давать? Не такие теперь времена! Теперь все равны.

Сказав это, он выпучил от натуги глаза и еще сильнее напрягся всем телом и разом оказался впереди нее.

Елизавета Семеновна еще крепче вцепилась в свои узлы, собрала последние силы и сделала невероятное усилие продвинуться; хотя бы отвоевать свою прежнюю позицию, откуда ее только что отбросили. Костлявыми старушечьими руками она вцепилась в рукав стоявшего впереди мужчины. Несмотря на сибирский мороз, на нем было демисезонное пальто, а на всей фигуре лежала несмываемая никакими обстоятельствами печать барства. Елизавета Семеновна рассчитывала на уходящее в вечность, затаптываемое грязными сапожищами, благородство; и всем своим легким телом пыталась подтянуться к сживаемому со свету интеллигенту. Она подсознательно чувствовала, что «этот» не оттолкнет старуху, не поддаст ей в подбородок, чтобы самому продвинуться на какие-нибудь поларшина вперед, поближе к желанному поезду, равнодушно вытянувшемуся у перрона своим могучим черным телом.

Но несмотря на все напряжение Елизаветы Семеновны, демисезонное пальто незнакомца выскользнуло из рук и стало отдаляться. Впереди уже обосновалась та самая поддевка, что ударила по лицу. А через минуту и поддевка уже скрылась из глаз, вытесненная бараньим полушубком.

— Неужели и этот поезд упущу? — с ужасом думала Елизавета Семеновна, чувствуя, как ее отталкивают все дальше вглубь вокзала. Вот уже и вагонов не видно, только безлично чернеют их, как бы оторванные от крыши, тонкие трубы. Слезы выступили на ее глаза. Слабость и безразличие охватили ее, и она перестала сопротивляться. А когда ее окончательно оттиснули в сторону, и она почувствовала, что никому больше не мешает, невольный вздох облегчения вырвался из ее груди, а по впалым старческим щекам обильно потекли слезы.

Гул толпы отдалялся, затихал. И только когда под торопливый, неровный звон колокола (как будто спешил скорее закончить свое незаконное дело), поезд нервно взвизгнул и стал спешно отходить, этот гул на момент возрос. Все, кто не попал на поезд, последний из этого обстреливаемого города, отчетливо сознавали свое трагическое положение. Плач и причитания усилились, послышались даже вопли отчаяния.

Уронив свои узлы со скарбом на землю, Елизавета Семеновна примирительным жестом обтерла слезы. Перчаток не было и чтобы согреть мерзнущие руки, она спрятала их в рукава шубы. Крытая добротным сукном, с барашковым воротником, шуба эта была спасительной в морозные дни. Но за последнее время Елизавета Семеновна стала ловить на себе злобные и полные зависти взгляды. Взгляды эти говорили, что обладательнице такой шубы легко выбраться из любых обстоятельств. Но Елизавета Семеновна, несмотря на то, что почти уже в течение месяца сидела в городе, окруженном красными, жалела расстаться с шубой. И сейчас она, владелица такой хорошей, вызывающей зависть, вещи, безнадежно сидела на узлах и горько плакала.

Она не боялась красных, не боялась их расправы, но понимала, что с каждым днем все дальше и дальше отдаляется от своего сына, который отступал с белой армией. Боялась она, что совсем потеряет его след и тогда не будет даже знать, жив ли он. Идти за ним шаг за шагом, знать, что он, ее единственный, хотя и в опасности, но тут же где то недалеко — стало для нее необходимостью. Да и он ведь тоже знал, что мать идет за ним по пятам. При последней встрече он так молил ее бросить дом, вещи и скорей бежать из этого жуткого города. С каждым днем становилось все хуже, все страшнее. Не безопасно было уже и по улицам ходить. Но осада подходила к концу. Успех красных становился очевидным. Сегодня ночью вероятно уйдут из него решительно все, кто так или иначе был связан с белыми; кто не хотел ставить на карту своей свободы, а может быть даже и жизни. Те же, кто останутся в городе — или примкнут к красным, или же

запрутся на замки, закроют рты, запечатают души, — и тогда уже Елизавета Семеновна ни от кого не сможет узнавать о продвижении белой армии, с которой уйдет в неизвестность и ее дорогой, единственный.

Слезы полились обильнее,горячее. Полная безнадежность охватила ее, сдавила горло спазмой.

— Как же быть то? Господи! Что же дальше?

Она не заметила, что говорила сама с собой вслух.

Какой то мужчина, в нахлобученной ушастой шапке, приостановился и стал всматриваться в плачущую старуху.

— Что же делать то? — опять вопросила она пространство, но вдруг увидела зорко всматривающегося в нее мужчину: — Родимый, помоги! — в полном отчаянии безотчетно протянула она к нему руки: — Присоветуй!

Мужчина охотно подошел ближе.

— Как выбраться мне отсюда? — рыдая повторила Елизавета Семеновна.

Он быстрым взглядом окинул ее с ног до головы. Предусмотрительно оглянулся вокруг и потом тихо, но уверенно сказал:

— Я могу тебе помочь. Завтра на рассвете отсюда подводы отправляются. Хочешь, бабушка, посажу тебя с другими на подводу?

Елизавета Семеновна чуть не захлебнулась радостью.

— Родной, — бросилась она к нему, схватила за руку: — Век буду Бога за тебя молить!

— Этого мне не надо, — сухо отстранился он: — Но это стоит денег. Есть ли деньги то?

— Деньги . . . Немного есть, но . . . Милый! Сам понимаешь: много ли может остаться, когда я, почитай, уж с месяц вот тут на вокзале живу — все на поезд попасть не могу.

— А шуба? — жестко бросил он: — Она стоит больше, чем мне нужно. Отдай шубу, а я тебе еще и сдачу принесу.

Елизавета Семеновна оторопела только на секунду, а потом решительно мотнула головой:

— Бери! Бери шубу! Все равно уж жалеть не приходится. Лишь бы к сыночку добраться, а там он уж позаботится, не даст умереть. Не могу я здесь остаться, родной. Пойми: куда он, туда и я . . . Бери! Последнее, да что ж делать.

— Ладно, — не тронувшись сентиментальными излияниями, холодно сказал мужчина: — Идем!

Он взвалил на плечи ее узлы и быстрым шагом направился к комнате для проезжающих. Елизавета Семеновна, боясь упустить своего спасителя, быстро шла за ним.

Он выбрал скамью подальше от входа, бросил на нее старухины узлы.

— Вот! — коротко сказал он и выжидательно уставился на нее. Она его поняла и стала торопливо снимать шубу.

Получив на руки шубу, он со всех сторон проверил ее достоинства и с удовлетворением встряхнул на руке. На минуту он как то задумался.

«Неужели сейчас откажет», — с беспокойством пронеслось в голове Елизаветы Семеновны, которая, кутаясь в теплый платок, не спускала глаз с незнакомца.

— Милый, шуба добротная, не сомневайся, — промямлила она.

— Не то . . . Я, бабушка, тебе сдачу сейчас принесу, — сказал он и пошел к выходу.

Елизавета Семеновна со страхом проводила его глазами.

«Унес! Батюшки! А что если не вернется? Кто он такой? Ведь я же его не знаю . . . — мучительно неслись ее мысли: Ну, да Бог даст, не обидит старухи. Не зверь же, в самом деле», — тотчас же успокоила она себя. Неслышно, одними губами, творя молитву, она села на скамью, придерживая руками сильно забившееся страхом сердце.

Но мужчина долго себя не заставил ждать. Не прошло и полчаса, как он показался в дверях. С небольшим медным самоваром в руках он шел прямо к ней.

— Вот, бабушка, тебе и сдача, — деланно весело сказал он, ставя самовар рядом с узлами: — Это то, что от шубы осталось . . .

— Сдача . . . — растерянно повторила Елизавета Семеновна: — А зачем же мне самовар? — робко пробормотала она: — Что я с ним буду делать?

— Как что делать? — криво улыбнулся он: — А чай пить! Поди холодно без шубы то? Так вот есть, чем согреться. Я и кипяточку в него налил: знай себе — сиди да попивай! А на рассвете я приду за тобой на подводу сажать. Больше мне нечего тебе дать . . . — другим тоном, с оттенком сердечности, добавил он: — только вот этот самовар и есть. Так до скорого свиданьица!

Елизавета Семеновна не сразу оправилась от удивления. Она все еще растерянно оглядывалась вокруг, как бы ища объяснения у стоящих рядом чужих людей. Но никому не было до нее дела. В зале было порядочно народу, но лица у всех были озабоченные, движения порывистые. Большинство из этих людей, так же как и она сама, не попали на последний поезд. Какая то конспиративность чувствовалась вокруг. Люди эти шептались, отводили друг друга в сторону, боязливо оглядывались. Никто, конечно, не обращал внимания на худую, небольшого роста старушку, прикурнувшую в дальнем углу залы и только что отдавшую свою добротную шубу чужому человеку, а теперь зябко кутающуюся в головной платок и греющую свои затекшие руки о горячий самовар.

Она прекрасно понимала, что во всем городе сейчас не сможет найти человека, который посочувствовал бы ей, но все же бегала глазами вокруг. Она все надеялась отыскать в толпе кого-нибудь, кто хоть разъяснил бы ей создавшееся положение, расправил бы ее спутавшиеся мысли. Но нет: ни сочувствия, ни даже внимания нельзя было найти в этом зале, куда были загнаны несчастные, прижатые к стене без выхода, люди. Дни и ночи, насыщенные страхом, полные первобытного ужаса, изъяли из их душ все гуманные чувства, с корнем вырвали жалость и сострадание к ближнему.

Становилось темно, но свет в зале не спешили давать в этот день. Зал для проезжающих потускнел, стал пустеть.

Лишь кое-где временно прикурнули такие же, как и Елизавета Семеновна, жалкие фигуры; да заговорщически шептались по углам темные личности. Может быть, это были из тех, что как только войдут в город красные, сейчас закричат победителям «ура» — неизвестно.

Сгустились сумерки.

Елизавета Семеновна знала, что не уснет до самого рассвета, когда за ней обещал прийти тот высокий, в шапке с ушами... Придет, чтобы вырвать ее из ужасного города, который, однако, когда то дал ее семье много незабываемых радостей, памятных на всю жизнь счастливых моментов.

Поудобнее усевшись на узлы, наполненные остатками прежней зажиточной жизни, Елизавета Семеновна вынула кружку и решила воспользоваться горячей водой в самоваре, чтобы согреться.

«Неужели же тащить самовар с собой? — недоуменно рассматривала она свое странное приобретение: — Как же я его потащу? Нет, конечно, придется его оставить здесь. Рук едва хватит и на узлы. На подводе, поди, не одна я буду»... И вдруг ее мозг осветила молния, и она отчетливо осознала, что больше никогда не увидит сына, что в одном головном платке, что остался сейчас на ней, она замерзнет на первой же версте. Сердце ее сжалось. «А если б не отдала шубы, тогда что было б? — допрашивала она свое уродливое отражение в самоваре. Но через минуту опять слабая надежда начинала теплиться в душе: — Выпростаю все из узлов, а мешки то на себя и накину — авось не замерзну! Успеют ли вот только подводы выехать? — мучительно бились ее мысли: — Как будто стреляют ближе, — прислушивалась она к выстрелам: — Красные вот-вот войдут в город»...

Войдут и... застанут ее здесь за самоваром! Уж лучше было б дома остаться. Она с ненавистью посмотрела на отливающий ярко начищенной медью самовар. Чей он? Откуда? Наверно брошен своим хозяином, который, освобождаясь от плена вещей, искал спасения в бегстве в неизвестность.

Вода в самоваре остывала и больше уже не согревала начинающее неметь в нетопленом зале старческое тело.

А когда окончательно сгустилась ночь, Елизавету Семеновну уже всю трясло от холода.

«Ну, еще не долго, потерплю, — успокаивала она себя, по глаза зарываясь в платок: — Вот еще час-другой, а там... а там и «он» придет».

В невеселых думах застало ее утро. Серое, суетливое и безлюдное. Каждый, кто мог, исчез куда то. Полными ужаса глазами осматривала Елизавета Семеновна все более и более белеющий от восходящего солнца зал. Уже давно потушены последние нерадостные огни. И наконец, ясное морозное утро открыто заявило о своих правах в этом бесправном городе.

Елизавета Семеновна ни на минуту не оставляла своего угла, боясь пропустить грузного, с зоркими глазами, мужчину в ушастой шапке, ставшего таким желанным и близким. Но нет — его все не было! Уж не случилось ли чего с ним? Он не пришел ни рано на рассвете, как обещал, ни даже потом, когда уже не было сомнения в том, что уже наступил еще один безжалостно- холодный день.

«Неужели... обманул?» — думала Елизавета Семеновна. Но несмотря на ужасное подозрение, она с окоченевшими от холода и без движения членами все продолжала сидеть, не спуская широко раскрытых глаз с вокзального входа: «А может быть, «он» все же вот сейчас и покажется и как тогда, когда принес самовар: а вот тебе и сдача, — так же вот широко улыбнется и весело скажет: «Заждалась, старуха! Ну, иди, садись на подводу»...

Орудийные залпы становились потрясающими, и здание вокзала содрогалось от все ближе и ближе надвигающегося ужаса. «Может быть, это мой сыночек отстреливается... Прощай, родимый!»... — грустно улыбнулась Елизавета Семеновна, опять почувствовав, что не увидеть ей больше сына. Но слезы уже не согревали: ее трясла мелкая дрожь.

А к вечеру, закостеневшая и посиневшая, она едва оторвалась от узлов и шатаясь вышла из своего угла. Полная отчаяния, граничащего с безумием, пошла по вокзалу. Платок сполз с головы и, зацепившись за платье, безвольно повис с плеча. Никто не обращал внимания на всклокоченную, с дико вытаращенными глазами старуху: в те дни таких лиц было много, и трудно было б кого-нибудь удивить ярко выраженным горем или отчаянием.

Елизавета Семеновна едва различала попадавшиеся навстречу лица: все они сливались в одно пятно. Перед глазами ходили круги, желтые, красные . . . И бестолково походив вокруг, она вернулась в свой угол, вынула из мешка какую то корочку, запила холодной водой из самовара и потом тяжело упала головой на деревянную, жесткую скамью.

Ночью она проснулась от необычной тишины: стрельба неожиданно остановилась, как будто кто то вдруг оборвал ручку у тяжелой заводной игрушки.

В город вошли красные.

Елизавета Семеновна не чувствовала ни страха, ни даже беспокойства — ей было теперь все равно. Ее порозовевшее, как бы помолодевшее, лицо счастливо улыбалось; пред мутными глазами вместо красноармейцев, сразу наполнивших зал для проезжающих, стоял ее уютный домик в знакомой, родной улице; рядом сидел сын в форме фельдфебеля, с грудью, украшенной военными знаками отличия и рассказывал о своих подвигах в братоубийственной гражданской войне. Она угощала победителя домашней снедью, обильно расставленной на столе и наливала крепкий горячий чай из бурлящего самовара, от которого шел сильный жар.

Сбросив под лавку надоевший головной платок, она напряженно слушала сына. А самовар шипел все громче и громче, мешая вслушиваться в каждое слово. Жадно ловя ускользающие от нее оттенки сыновнего голоса, она неудобно вытянула шею и напрягла слух. Но самовар, увеличиваясь в размере, заполнил собою почти все поле ее зрения и, шипя, давил на грудь, жег голову.

— Сыночек мой, ты тут? Со мной?

Но ответа за шипением самовара она не расслышала, да и ее собственный голос уже не звучал обычно, а был лишь сдавленным, еле слышным хрипом.

Елизавету Семеновну нашли мертвой лишь через два дня, когда новые хозяева города, оправившись от дурмана своей победы, способны были заглянуть под угловую скамью комнаты для проезжающих. Уже закостеневшую, ее едва оторвали от узлов, в которые она жадно вцепилась своими сухими жилистыми руками, как будто пыталась удержать то прошлое, что так бессмысленно и жестоко было у нее отнято.

Забытая елка

Было уже около одиннадцати часов ночи, а Лидия, маленькая, увядающая блондинка, с большими, всегда как бы испуганными глазами, все еще возилась с предпраздничной уборкой в своей небольшой беженской квартире.

«Еще вот елку украсить — тогда будет все», — думала она, входя в спальню, где в кресле сидела беленькая чистенькая старушка.

— Мама, мне только осталось елочку убрать, — громко обратилась к ней Лидия.

— Кого ругать?

— Нет: елочку убрать, — еще громче повторила Лидия, наклоняясь к матери.

— А . . . да . . .

— А потом я приду тебя уложить в постель. Хорошо?

— Иди, иди, Лидуша, — мягко ответила та, кивая своей белой головой, — я подожду, спать еще совсем не хочется.

Заботливо поправив одеяло на парализованных ногах матери, Лидия вышла в столовую. Здесь на столе стояло свежее рождественское деревцо, а рядом, в коробке, лежали немногочисленные елочные игрушки.

«Как все это скудно получается», — подумала она, привычно торопливым движением разбрасывая по елке серебряные нитки.

И вспомнилась ей другая елка, высокая, чуть не упирающаяся в потолок яркой рождественской звездой и блестевшая множеством разноцветных и дорогих игрушек. А она, Лидия, беззаботной, жизнерадостной институткой кружилась вокруг этого дерева и танцовала под оркестр музыки в залитой огнями и блестевшей хрусталем зале.

Но то было шестнадцать лет назад, и было в далекой, уже несуществующей, России. Теперь Лидия была поденной швеей и имела возможность поставить маленькое кудрявое деревцо, напоминающее о Рождестве, лишь у себя в столовой на столе.

«Надо быть довольной и тем, что есть: другие еще хуже живут, — успокоила она сама себя. — А мне что же мечтать о большем: у меня требований к жизни должно быть меньше; и мои мечты не должны идти дальше мечтаний о том, чтобы сделать мадам Пурэ своей постоянной заказчицей. Впрочем, и эта мечта почти неосуществима . . . А ведь если бы она осуществилась, пожалуй, можно было бы и не сдавать комнаты, а занять всю квартиру самим».

Лидия осторожно покосилась на дверь направо, где жил квартирант, Петр Васильевич Смоленцев, бывший офицер Российской армии, а теперь агент по продаже электрических печей. Дверь в его комнату была полуоткрыта, и Лидия видела, что Петра Васильевича нет дома.

«Он очень неглупый человек и с ним приятно поговорить, — как то неопределенно подумала Лидия, навешивая на елку стеклянный колокольчик. — А в общем глупо сложилась моя жизнь. Вот мне уже почти 35 лет, а я даже не знаю, что такое любовь» . . .

Она грустно улыбнулась. Ей стало жаль себя. Вся молодость ушла на заботы о больной матери, о насущном хлебе. О себе же как то не было времени подумать.

«И вот я уже старая дева . . . Неужели мне больше нечего ждать от жизни? Не на что надеяться?»

В передней послышался звук отпираемой двери, потом раздались шаги, и в комнату вошел мужчина, лет сорока в

коричневом пальто и такой же шляпе, с коротко подстриженными усами и маленькими быстрыми глазами.

— А-а . . . Лидия Павловна! Елочку украшаете? Вы что же в церкви не были? — спрашивал он, сбрасывая пальто и подходя к Лидии.

Лидия почувствовала, как вся вдруг заволновалась от его присутствия и даже не смогла ответить на вопросы, лишь скользнула взглядом по аккуратной внешности квартиранта, а ее нервные руки стали еще торопливее хвататься за елочные игрушки и быстро, быстро надевать их на торжественно торчащие веточки елки.

— Ай! — вдруг вскрикнула она и схватилась за указательный палец правой руки, откуда выглянула капелька крови.

— Что вы, Лидия Павловна?

— Уколола палец: ветки такие острые.

— Ах, какие они нехорошие, зачем так колются.

Говоря это, Петр Васильевич взял Лидию за локоть и стал рассматривать уколотый палец.

— Так . . . Немножко . . . Пустяки . . . — говорила Лидия, вся зардевшись и вытирая кровь носовым платком.

— Нет, нет, так этого оставить нельзя. Я вам сейчас смажу пальчик иодом.

С этими словами он прошел в свою комнату.

— Не надо! Что вы! — протестовала Лидия.

— Нет, нет! Без иода нельзя. Только вот я не могу его найти . . . Да войдите же сюда, Лидия Павловна! Что вы боитесь моей комнаты! Вы ведь не вчера только вышли из института.

Лидия робко подошла к двери квартиранта.

— А вот и иод! Дайте же ваш пальчик, Лидия Павловна, — говорил он, стоя у письменного стола, на котором по случаю праздника стоял окорок, кой-какие нераскрытые консервы и несколько бутылок вина.

Чтобы действительно не показаться смешной институткой в свои годы, Лидия вошла в комнату и наивно протянула свой пораненный палец.

— Ну, вот, теперь всякая опасность предотвращена, — весело улыбнулся Петр Васильевич, окрасив палец Лидии в коричневый цвет. Ей же было стыдно своих рабочих рук, и когда Петр Васильевич неожиданно нагнулся и поцеловал ее исколотую иглой, со следами горячего утюга, грубую руку, она смутилась и пыталась ее отнять.

— Почему вы такая . . . застенчивая? Не бойтесь меня, — говорил он, задерживая ее руку в своей и целуя ее еще раз. Его быстрые маленькие глаза жадно забегали по белой блузке Лидии, по ее белокурым неубранным волосам и остановились на пузатой бутылке с красивой зеленой жидкостью.

— Выпьем за наступающее веселое Рождество, — сказал он, наливая две рюмки ликеру. — И я хочу, чтобы оно действительно было веселое для вас. Мне очень хочется сделать вас жизнерадостной; хочется, чтобы эти большие глаза не смотрели с таким испугом, а искрились неподдельным счастьем; а этот бледный, усталый рот широко раскрывался бы от искреннего смеха. И он может смеяться! Только его этому никто не учил. Хотите я буду вашим «смешным» учителем? Выпейте еще ликеру!

Лидия улыбнулась его словам и просто и мягко смотрела на его полное бритое лицо, пытаясь схватить взглядом его быстрые, верткие глаза. Но каждый раз, когда ей это удавалось, ее жестоко кололи беспощадные черные точки. Ей становилось и жутко и вместе с тем она чувствовала, что поддается гипнозу этого решительного, смелого человека.

— Вы ведь очень скучно живете, милая Золушка. Скучно потому, что не умеете жить. Вы внешне как будто и приспособились к жизни, а в душе остались все той же неопытной институткой, какой были и в день вашего выпуска. Нельзя так! Вы оглянитесь: так много радостей вокруг и только надо уметь их находить; а найдя, жадно хватать и, не раздумывая, проглатывать. Тогда вам будет весело! Вообще смотрите на все проще и поменьше философствуйте. Без философии легче жить. А то смотрите: жизнь возьмет и выскользнет из рук, как золотая рыбка, и вы ее только и видели. А

ведь будет очень досадно пройти мимо жизни. Неправда-ли? Выпейте еще!

Как тягучий ликер разливались его слова теплотой внутри Лидии. Хотелось слушать без конца его уверенный бодрящий баритон, с такой простотой раскрывающий новые для нее, смелые идеи.

Было уже далеко за полночь, а Лидия все не приходила укладывать спать свою беленькую старушку, которая терпеливо продолжала сидеть в кресле, склонив на бок седую голову.

«Все с елкой возится моя Лидуша . . . — сонно мелькало у нее в голове. — Заботливая такая! Тоже ведь хочется, чтобы все по человечески было к празднику. А ведь, пожалуй, поздно уже. «Рождество Твое Христе Боже наш, возсия мирови свет разума» . . . — вполголоса принялась она читать тропарь празднику.

— Лидушка! — негромко позвала она дочь, — брось, милая, возиться, ложись-ка лучше спать. Ведь и отдохнуть тебе надо. Лидушка!

Глухими ушами поворачивалась она в сторону двери, пытаясь уловить голос дочери, и блеклыми глазами напряженно всматривалась в полоску света из столовой, думая, что вот-вот покажется на ней знакомая тень. Но все было тихо: белую старушку никто не слышал. Беззвучно пожевывая бесцветными губами, она снова закрывала глаза, и опять ее белая голова начинала дремотно клониться на бок.

И в полутемной комнате нельзя было отличить, где кончается ее голова, а где начинается кофточка: все сливалось в сплошное белое пятно.

В столовой же стояла недоубранная елка с беспомощно повисшей серебряной ниткой на одной стороне.

А из полузакрытой двери в комнату квартиранта Петра Васильевича Смоленцева слабо доносился жалобный женский голос, который мягко кого то упрекал:

— Зачем? Это нехорошо так . . .

Но тихие всхлипывания старой девы покрывались уверенным, успокаивающим баритоном.

В мире черствых

Это было в те страшные годы, когда русская земля только что вошла в свой мрачный круг бедствий, и вслед за войной последовала революция, за которую цепко ухватился глад и мор. Земля содрогалась от человеческих страданий и бедствий, корчилась от неслыханных людских зверств. Растеряв духовные ценности, с выжженными злобой сердцами, люди эти лишь по привычке влачили по земле свои жалкие тела, пустые ветхие... А оставшийся в их груди маятник вместо сердца механически отбивал оскудевшие дни и часы их безрадостного жизненного пути.

Нутряной животный стон стоял в те годы над российской землей. Люди боялись себе подобных, избегали подойти друг к другу, говорить громким голосом, задавливали в себе случайные смутные порывы к нездешнему, неземному; а смех, вырывавшийся из их опустошенных душ, был жестоким и диким гоготаньем человекоподобного зверя.

Но Авдотья Ефимовна ничего не замечала. Она как бы застыла в том состоянии, в котором была до начала всех этих ужасов и, отвернувшись от мерзкой действительности, жила воспоминаниями о светлом прошлом.

— Куда уж мне угнаться, — говаривала она соседке в ответ на требование идти в ногу с веком: — лета уж не те. Ведь мне за 70 перевалило. Да и неграмотная я... Если б могла я еще ваши заумные книжки там всякие читать, так

может что и поняла б. А то что ж я? Что Саша скажет, то для меня и закон. Ведь он мой первенец! Да и умница какой! Офицер!

Марта, жена Саши, строгая, серьезная, часто говаривала Авдотье Ефимовне:

— Вы, мамаша, лучше б бросили судачить с соседками: не такие теперь времена.

Авдотья Ефимовна тяжело вздыхала. Она и так уж целыми днями молчит. Сама с собой стала разговаривать — вот до чего дошло. Конечно, времена определенно не те, это правда.

— Антихрист на землю сошел, что и говорить.

Марта сердито отмахивалась, а Саша понимающе кивал головой:

— Вы правы, мамаша: антихрист.

Как бы то ни было, антихрист, иль нет, но уж Рождество то Христово отметить нужно. Правда, и Саша и Марта, оба в один голос сказали, что им не до того сейчас, да и как бы худа из этого не вышло.

Но Авдотья Ефимовна этого уж никак не могла понять, чтоб от того, что в сочельник в церковь сходишь, да кутью к праздничному столу сделаешь, было бы худо. Как себя помнила, всегда справляла Рождество, и ничего худого из того не получалось.

— Конечно, где уж мне, неграмотной, все понять, но ведь не нехристи мы все же какие.

И накануне сочельника, когда из дома все ушли, она достала большой носовой платок, который носила привязанным на поясе под нижней юбкой и развязала один из заветных узелков. Здесь хранились ее секретные гроши, о которых никто не знал, даже Саша. Немного было припрятано в узелке, но на пшеницу да на мед с изюмом хватит.

Ей так хотелось хоть чем-нибудь скрасить мрачную повседневность, разгладить угрюмые складки на лице дорогого Саши. А что же может быть лучше напоминания о счастливом детстве, хоть и в бедной, но хорошо слаженной семье?

«Такие тяжелые времена пошли: никаких радостей, — думала Авдотья Ефимовна, — а тут придут Саша с Мартой, а у них на столе рождественская кутья! С кутьи то уж никак ничего худого не может быть».

От сознания хоть на минуту вызвать улыбку у своих самых близких людей, Авдотья Ефимовна наполнилась светлой радостью, лучами разлившейся по ее худому, маленькому личику, от чего дружно собрались все ее большие и малые морщинки и совсем закрыли маленькие и без того невидные глазки.

Авдотья Ефимовна надела теплое на вате пальто с изящным каракулевым воротником — последний Сашин подарок, когда он еще на царской службе был. Пальто это молодило Авдотью Ефимовну и вместе с тем придавало ей совсем к ней неидущую важность.

«Носите, мамаша, и меня вспоминайте», — сказал Саша, надевая это пальто на мать.

— Ну, как же не вспоминать! Каждый раз, как надеваю, так о своем сыночке и думаю.

Ей стало еще радостнее от сознания, что у нее такой хороший сын (дай Бог каждому!), и выходя из дому, она, наполненная материнской гордостью, доверчиво улыбалась безлюдной, как бы вымершей улице, по которой даже собаки бежали, поджав хвосты. Прохожих почти не было: они были сметены страхом и тревогой за жизнь и боязливо держали ее спрятанной в четырех стенах под семью замками. В это лихолетье все, в ком еще была душа, благоразумно прятались, стараясь не показывать своего горя да и чужого сторонясь, чтобы как-нибудь случайно не попасть под подозрение. Несмотря на всю безотрадность жизни, каждому все же хотелось протянуть еще хоть один жуткий день, чтобы как-нибудь отдалить холодное небытие.

Но Авдотья Ефимовна, преисполненная крепко засевшими в ней, теперь уже отсталыми, ощущениями прошлой жизни, была как бы вне времени и пространства. Не ощущая жути настоящего, с чистой детской радостью она шла по улицам

мрачного города, отыскивая почти забытые всеми припасы, которые когда то клались в рождественскую кутью.

Она ходила долго, но со старушечьим упрямством все же что то нашла. Во всяком случае, у нее в руках были какие то кульки, когда она подходила к дому.

Но что же это такое? Она даже остановилась от изумления: на противоположной стороне улицы шли Саша и Марта, но они были не одни, а их сопровождали четыре вооруженных красноармейца.

Саша сразу увидел мать. Но он наверно не хотел показать идущим рядом с ним солдатам, что эта жалкая и смешная в своем детском изумлении старушка имеет что то общее с ним. И делая вид, что случайно оглядывается, он, не отрываясь, смотрел на Авдотью Ефимовну, как будто хотел запечатлеть дорогой ему образ.

Вот процессия завернула за угол, и Саша через плечо еще раз обернулся и окинул глазами маленькую старушку в «важном», с каракулевым воротником, пальто, неподвижно стоявшую на другой стороне улицы с крепко прижатыми к груди праздничными кульками.

Она долго так стояла, хотя уж давно не было видно ни Саши, ни Марты, ни красноармейцев. Наконец, ей удалось освободиться от охватившего изумления, и она двинулась домой.

«Скоро вернется, — решила она: — какие ж могут быть дела на пороге праздника?»

Но наивные рассуждения на этот раз шли вразрез с подсознательным ощущением страха, который, наперекор логике, подло забрался в нее. Не головой, а сердцем поняла Авдотья Ефимовна психологию жуткого времени. Она не находила объяснения, но чувствовала что то странное в только что виденном шествии: Саша и Марта, а по бокам по два вооруженных красноармейца.

«Ведь Саша же — полковник, — недоумевала она: — Как же простые солдаты смеют так идти рядом с ним, как будто они ведут его?»

И хотя старалась доказать себе, что у Саши неожиданно нашлось какое то дело с этими солдатами, чуткое сердце напоминало, как странно Саша смотрел на нее, когда шел под конвоем: как будто он чего то боялся. Он ведь видел ее, а вместе с тем не только не крикнул ничего, но даже и рукой не помахал, боялся. Саша побоялся простых солдат, которые раньше всегда вытягивались перед ним в струнку, отдавая честь!.. Новые, необъяснимые ощущения наполнили Авдотью Ефимовну и смешали все, до того так крепко в ней устоявшееся. От этих ощущений ей вдруг захотелось плакать. Она и не заметила, что до сих пор все стояла у окна и смотрела на тот угол, за которым скрылся Саша. Слезы закапали по ее желтому, морщинистому лицу. Но она решительно смахнула их концами косынки и сказала громко, вслух, как будто в доме был кто то еще, кто мог ее слышать:

— А кто ж кутью то будет делать? Завтра сочельник, а к празднику ничего нет! О чем же это я, старая дура, думаю?

И искусственно подбадривая себя, она затормошилась, бросилась разворачивать кулечки, разжигать примус.

— Бывало, еще когда покойный Вася был жив, завсегда кутья у нас в доме была, — объясняла она своему невидимому собеседнику, очищая изюм: — Саша то тогда совсем еще махоньким был, уж сейчас тут как тут и к изюму ручку тянет. А я ему, бывало, и говорю: нельзя до звезды ничего кушать. Да уж тебе то, немысленышу, Бог простит! Дашь, бывало, ему горстку изюму.

Слово «изюм» Авдотья Ефимовна выговаривала быстро и как то особенно мягко, у нее получалось «зюм».

Ночь Авдотья Ефимовна провела одна. А на другой день, когда уже солнце стало прятаться за соседний дом, пришла Марта.

— Марточка... — с замиранием сердца уронила Авдотья Ефимовна, но больше ничего не сказала: было страшно спросить про Сашу. Материнское сердце все острее чуяло несчастье, и в груди у Авдотьи Ефимовны что-то переверну-

лось и больно кольнуло, когда она увидела невестку одну, но поставить последнюю точку, после которой уже нет и не может быть каких-либо надежд, было страшно. И потому Авдотья Ефимовна молчала. Молчала и Марта.

Сбросив с себя пальто, платок, Марта, как всегда подтянутая, со своим обычным холодным, отвыкшим улыбаться, лицом, лишь с какими то новыми, непривычными для Авдотьи Ефимовны, впадинами вокруг глаз, как будто ночь не спала, села у стола. Но вдруг, уронив на руки голову, крепко сжала ее своими сильными, мужскими ладонями. И больше ничего.

Авдотья Ефимовна, вся горя внутри, нервно ходила вокруг застывшей Марты, жалко улыбаясь, несмело протягивала к невестке руки: вот бы обнять ее за плечи и так вместе выплакаться! Но природная робость сковывала Авдотью Ефимовну, а непонятная спазма обхватывала горло, и она уже в который раз молча отходила в сторону.

Вдруг вспомнила про кутью. Вот ведь она стоит, тут, на столе! А Марта даже и не заметила. Авдотья Ефимовна обрадовалась, что вспомнила про кутью.

— Марточка, вот я кутью . . . сделала, — наконец проговорила она, поднося тарелку к лицу Марты: — сочельник сегодня . . .

Марта отняла руки от лица и дико взглянула на маленькую, тощую старушку, держащую блюдо со сладкой кашей.

— С «зюмом», — добавила она и тихо засмеялась, а руки ее дробно тряслись.

— Саши больше нет, — жестко проговорила Марта, опустошенными глазами смотря на Авдотью Ефимовну: — Они убили его!

А потом встала и, заломив свои крепкие руки, потянулась, будто от усталости, а когда шла в спальню, то вопль вырвался из ее рта. Впрочем, может быть, то застонала старая, давно немазаная дверь.

С ее уходом в комнате стало настороженно тихо. Авдотья Ефимовна все еще держала в трясущихся руках тарелку и

не могла сдвинуться с места. Наконец, она почувствовала, что тарелка слишком тяжела для ее слабых, старых рук. Она осторожно поставила нетронутое праздничное блюдо на стол. Но легче от этого не стало: грудь давила непередаваемая тяжесть, ноги налились свинцом. Она села на стул, потерла хилую грудь костлявой рукой.

— За что же убили то? — спросила она пустую комнату. Не получив ответа, продолжала: — Всю жизнь верой и правдой служил. Как еще махоньким кадетиком был, бывало, говорил: царю и отечеству, мамаша, служить буду, за это и умереть можно . . . А за что же теперь умер? Убили, говорит . . . Как же так? Ведь он родине служил! Одних Егорьев у него сколько было, да и других всяких орденов. Боевой орел!

Пред ее глазами встала гордая фигура сына в полковничьей форме при всех орденах, прямо и честно смотрящего перед собой. Так он наверно смотрел и в глаза своих убийц, когда те вскинули ружья, целясь в него.

— Да разве таких убивают? — крикнула на всю комнату Авдотья Ефимовна, как бы желая остановить залп, направленный в ее сына: — Да что вы, антихристы, с ума спятили, что ли? Он всю жизнь свою царю и отечеству верой и правдой служил.

Авдотья Ефимовна не замечала ни того, что говорит сама с собой, ни того, что размахивала руками, как будто кого то отгоняя.

— А почему в корпус определили его? Тоже, поди, не знаете? — продолжала она беседу с невидимыми убийцами: — А как же так? Подумали ли вы, почему это так, за какие-такие заслуги вдруг сироту, сына мещанина, в кадетский корпус на казенный счет учиться отправили? То-то вот! А за то, что 14-тилетним мальчонкой первый Егорьевский крест получил! Вот за что! Из штаба, куда я его отдала, на фронт убежал. Первый то раз вернули, розог надавали, а он во второй раз сбежал — не побоялся. Я, говорит, покажу этим япошкам, как с русскими воевать! Вон какой Саша то мой!

Потом и в корпусе начальство отметило его. Нам, говорят, таких молодцов как раз не хватает. Вот в офицеры и вышел. Такой уж склад души у него с детства был. Только военным и хочу быть, мамаша, никуда больше не пойду, — бывало говорил, когда еще во каким махоньким был. Касатик мой!

И вдруг слезы брызнули из ее глаз, тяжелые, от которых даже трудно становилось дышать.

— Обернулся . . . на меня все смотрел, когда шел . . . когда вели его, — криво, сквозь слезы улыбнулась Авдотья Ефимовна, вспоминая последний путь сына.

А слезы все текли и текли. Они уже заполнили все морщинки на ее лице. Как по желобкам скатывались они по этим морщинкам на грудь, падали на колени.

Вдруг лицо Авдотьи Ефимовны осветилось улыбкой. Она спешно отерла слезы и, как бы боясь не успеть, торопливо заговорила:

— А когда Сашенька во второй раз бежал на фронт, так он с товарищем у меня целого гуся своровали. Я только зажарила его, еще тепленький был, а они его подмышку и давай Бог ноги! В мешок с сухарями спрятали. А сухари то Саша чуть не полгода собирал: откладывал кождый кусок, что в штабе получал. Уж раз такая мысль засела в голову — что тут поделаешь! Какой то патруль они по дороге повстречали, как на фронт бежали. Солдатики и прикрыли мальчиков. Потом уж, когда из штаба погоню послали, солдатики выдали Сашиного товарища, а самого то утаили: больно он им понравился. Выдавайте, говорит, меня, не выдавайте, все равно уйду, пускай хоть в десять раз больше розог надают. Упорный такой был. А то еще кадетиком, бывало, придет ко мне . . . Мамаша, говорит, вы ничего, потерпите малость, а как в офицеры выйду, денщики за вас все делать будут; а жить всю жизнь со мной будете . . . Так и было. Сашенька умел слово держать. Уж если что пообещал, так тому и быть. Вилять да лукавить не умел, не то чтоб соврать — Боже упаси! Офицер, говорит, служить правде должен. Вот как! Таким то памятники ставят, а не то что . . .

Авдотья Ефимовна вперилась в темноту своими маленькими, а в слезах и совсем не видными, глазами, как будто видела перед собой убийцу сына.

— За что ты его? За что? Матери, видно, у тебя нет, что на такое решился. Грех то какой! Бог тебя покарает!

Она вытянула свой высохший, костлявый палец и значительно погрозила темноте:

— Покарает! Антихристы! — с силой крикнула она, но вдруг сразу ослабла и тихо прошептала: — Господи! Твоя воля!

Она закрыла лицо руками, и рыданья потрясли ее худую, маленькую фигурку, неудобно съежившуюся на стуле.

— Испить бы чего-нибудь горяченького . . . — совсем ослабевшим голосом проговорила она, потирая ноющую грудь рукой: — Кипяточку. . .

Она поднялась, но не сделав и шага, вдруг рухнула на пол и так и осталась лежать.

В комнате опять стало тихо. Сгустившиеся сумерки окончательно заволокли все углы и ласково прикрыли собой хрупкое, легкое тело, безжизненно распростертое на полу. То была последняя, но уже ненужная, ласка загрубевшего, черствого мира.

Один из многих

Отъезд на фронт не был для Николая тяжел. Даже не было грустно расставаться со своей молодой женой. Горечь разлуки стушевывалась сознанием выполняемого перед отечеством долга, и это сознание вытесняло все остальные чувства, наполняя душу небывалым восторгом, вырывавшимся в красивых патриотических лозунгах и безудержно-ухарских песнях.

И сейчас, высунувшись из окна теплушки, Николай небрежно давил в руках брошенный кем-то из провожающих букет ромашек и полными счастья глазами смотрел на жену на перроне.

Держа на одной руке свою маленькую дочку, она другой неловко утирала невольные слезы. Маскируя страх перед будущим и горечь расставания, она кокетливо помахивала уезжающему мужу мокрым от слез носовым платком и улыбалась ему искривленным от сдерживаемых рыданий пухлым, молодым ртом.

Поезд тронулся. Мощное молодецкое «ура» потрясло воздух и заглушило слабые отзвуки людского горя. Толпа провожающих в небывалом подъеме бросала в уходящий поезд цветы и готова была сама ринуться за ним, чтоб всей своей восторженной массой вмиг смести неприятеля, посмевшего нарушить мирную и налаженную жизнь обывателя.

Пышные слова гимна звонко и мощно неслись вслед поезду, который, постепенно набавляя ход, покидал вокзал, спеша навстречу истории. Когда последний вагон скрылся из глаз, упав в неизвестность, экстаз стал снижаться. Он все еще стоял в воздухе, но яркий летний день уже тускнел, и вдали уже показались тучи, предвестники чего-то грозного, неумолимого.

Николай был очень рад попасть в одну роту с Васькой и Анатолием, двумя своими приятелями, с которыми сблизился в дороге и благодаря которым расстояние до конечного пункта пролетело как миг.

Оба приятеля, в особенности Васька, отличались веселым характером, и Николай заодно с ними всю дорогу вышучивал и себя, и своих соседей, и войну, и все страхи, с ней связанные. Жизнь этим трем молодым людям, несмотря на неопределенное «завтра», широко и приветливо улыбалась сегодня. Обстановка фронта притягивала своей новизной, и Васька уже приготовился записывать все смешное, что может с ним приключиться. Для этого он в своем вещевом мешке, рядом с балалайкой, с которой считал немыслимым расстаться, хранил чистенькую коленкоровую тетрадку, будущую свидетельницу, как он сам выразился, его военных «приключений». Васькина веселость была заразительной, и жизнь с ним казалась простой, несложной и бесконечно смешной.

Молодой задор не оборвался даже и тогда, когда выяснилось, что завтра будет бой. Васька воспользовался случаем рассказать несколько анекдотов, связанных со страхом перед дурой-пулей и летающими птицами-аэропланами. Приятели, хотя и более вяло, чем обычно, и на этот раз поддержали своего присяжного балагура. Смотришь — день перед боем и прошел незаметно!

И только засыпая, Николай почувствовал странный холодок в сердце. Было ли то непрошенным страхом, неизвестно откуда заползшим, или же предчувствием всего того ужас-

ного, что потом с ним произошло — неизвестно. Но та ночь для Николая была последней страницей его беззаботной легкой жизни и переходом в новую главу, странную и жуткую своей новизной.

Утро перед боем как будто было и обычным, хотя и страшно настороженным. Но то, что последовало потом, было настоящим адом. Ничего подобного Николай никогда себе не представлял: все, когда либо им прочитанное или слышанное, бледнело перед той жутью, которая пред ним развернулась. От разрывов гранат разлетались на куски человеческие тела, отрывались руки, ноги... В дикой пляске боя торжествовали последние достижения человеческой адской техники. Николаю, с его бедным воображением среднего обывателя, невозможно было б и представить всего этого ужаса, если б только ему самому воочию не пришлось во всем убедиться. И как хорошо вдруг стало, когда все это оборвалось, куда то ушло: осколком гранаты Николай был ранен в голову.

Что произошло после, он не знал. Он никогда так и не узнал, как переводили его из одного госпиталя в другой; как возили по разным городам, побывать в которых он, может быть, когда то мечтал. Все, что происходило с ним в этот период жизни, прошло мимо него. Его сознание заволокло пеленой забытья. Он как будто бы ушел из действительного мира, потеряв связь со всем окружающим.

Долго он находился между жизнью и смертью. А когда все же жизнь восторжествовала, для Николая наступила особая пора. Вся его прежняя жизнь была начисто вычеркнута, изъята, — ее просто не стало, ему пришлось начинать жить сызнова.

Эта новая жизнь началась с того момента, когда с увольнительным билетом в кармане он вышел из госпиталя.

Это был уже не прежний беззаботный, жизнерадостный молодой человек. Нет! По улице шел сосредоточенно-мрачный, медлительный и болезненно-согнувшийся пожилой

мужчина. У него появилась привычка жмуриться и морщить лицо, от чего он делался похожим на породистого мопса.

Николай шел, морщил лицо и всему удивлялся, как будто видел все впервые; как будто его только что спустили на землю с какой то другой планеты.

Долго ли он болел, он не знал. Как вообще не знал о себе ничего, кроме того, что значилось в его отпускном билете. А там говорилось, что по болезни рядовой Николай Грязнов навсегда освобождается от военной службы.

Военная служба... Солдат... А было ли что-нибудь до этого? Впрочем, Николай не очень задумывался над этим. Он просто всему удивлялся. Жизнь его до чрезвычайности сузилась. Он мог целыми днями сидеть у окна и без единой мысли смотреть прямо перед собой. Все, что ему было нужно, делалось хозяйкой, у которой он поселился. Она знала, когда он должен быть голодным; знала, когда нужно было тушить лампу в его комнате: это означало переход от дня к ночи. Вообще жизнь была до невозможности простой и незатейливой.

И прошло много времени, пока Николай решился оторваться от окна своей комнаты и пройтись по улице. Интерес к жизни медленно, крадучись, пробирался к нему.

А однажды хозяйка принесла газету. Читать было трудно: каждая буква страшно сопротивлялась, когда Николай старался втиснуть ее в слово. Но собранное из букв оно все равно не представляло смысла, и Николай не мог понять написанного. Да и мир, о котором писали в газете, был совершенно чужд, он не чувствовал с ним связи. Ему даже делалось страшно от соприкосновения с ним. Казалось, что кто то очень жестокий и безжалостный взял да и сбросил его на эту землю. Сбросил, а сам ушел, предоставив ему самому во всем разбираться. И Николай часто плакал. То ли от жалости к самому себе, то ли от чего-то другого — не знал он, отчего. Просто плакалось — и больше ничего.

А потом хозяйка как то передала ему письмо. Несколько раз Николай перечел его, но так ничего и не понял: какой-

то разгильдяй-парень хихикал подряд на всех четырех страницах, вспоминая смешные случаи на каком то фронте во время какой-то войны. А что к чему относилось — было непонятно! По всей вероятности этот паренек писал о вещах лишь ему одному известных. Подписано было «Твой Васька».

«Наверно хозяйка что-нибудь напутала и дала мне чье-нибудь чужое письмо», — подумал Николай.

— В-вы у-уверены, что-что письмо мне? — заикаясь и жмурясь от напряжения, спросил он хозяйку.

— Да, конечно. Ваша фамилия.

Николай сверил фамилию на конверте с той, что была на отпускном билете: действительно, та же фамилия. Но мало ли бывает ошибок? И небрежно бросил это странное письмо в чемодан.

— Вы г-говорите, была в-война? — как-то спросил он свою единственную собеседницу-хозяйку.

— А как же? Муж моей Лизаньки в эту войну и пропал без вести.

— А кто т-такая Лизанька?

— Да дочь моя!

Оказывается у хозяйки была дочь. Николай только теперь ее заметил. Славная блондиночка, но строгая, и только когда она поднимала от полу глаза, видно было, что она не столько была строга, как просто застенчива. Иногда она приносила Николаю еду в комнату. Она делала это и раньше, но Николай раньше ее не замечал. И только теперь стал ждать ее прихода, чтобы из ее рук взять тарелку и сказать что-нибудь приятное, от чего она с удивлением поднимала вверх наивные, круглые глаза. И тогда Николай любовался их застенчивым выражением и ловил ласковую улыбку на ее круглом веснущатом лице. Ее добрые глаза будили в застывшей душе Николая интерес к жизни; они откапывали в ней то, что было завалено чем то тяжелым, плотным. От ее глаз в нем рождались новые для него ощущения, выступало что-то давно Николаем забытое, и от всего этого в присутствии Лизаньки ему делалось радостно.

Потом оказалось, что Лизанька где-то служила и приходила домой только к обеду. Когда это дошло до сознания Николая, он перед обедом стал выходить на крыльцо и с нетерпением поджидать ее прихода, чтобы перехватить излучаемое ее глазами тепло, от которого слой за слоем оттаивала его замерзшая душа.

— Лизанька! Лизанька! — с восторгом, как ребенок, повторял тогда Николай, ходя по ее пятам и в волнении двигая всеми морщинами своего старческого лица.

Через некоторое время он понял, что любит Лизаньку. О чем он однажды ей и сказал.

— Вот вы говорите, что м-муж ваш пропал без вести. Может быть, его уже и в живых нет. Значит, в-вы — свободны, я — тоже...

Но Лизанька с матерью знали, что Николай женат и имеет дочь, но как же можно было с ним об этом говорить, если он сам ничего не помнил?

Иногда он с усилием напрягал память.

— Вот вы все говорите: война, война... А когда же она кончилась? А больше ее не будет?

— Вы знаете, — говорил он потом, чувствуя какую то неловкость за свои несуразные вопросы, — я стал какой то глупый, многого не помню, забыл...

Но мало-по-малу он стал принимать больше участия в жизни, хотя настоящего себя еще не признавал.

Опять получил письмо, написанное мелким женским почерком. Какая-то женщина, очевидно замужняя, выражала радость, что он поправился и вышел из госпиталя. Обещала даже приехать и куда-то увезти... Прочитал и опять, как и первое письмо, сложил в чемодан: «Может быть, когда-нибудь разберусь во всем этом, — осторожно подумал он, — письмо адресовано мне, не верить этому нет основания, а вместе с тем, какое мне дело до этой женщины, которая так навязывается. Ведь я ее совсем не знаю. Вот Лизанька — другое дело».

Дружба с ней закреплялась. Она, одинокая, молодая, тоже тосковала без любви, и на вторичное его объяснение откликнулась. Она была в восторге от его нежной, ласковой натуры. Но однажды, лаская ее, он сам того не замечая, назвал ее«Верой». Лизанька не обиделась, но просто удивилась.

— Я — Лизавета, а вы меня Верой окрестили, — заметила она Николаю.

— Верой? Я назвал тебя Верой?

Николай упал головой на руки.

Лизанька даже испугалась.

— Что вы, что вы! Не надо. Я ведь так . . .

— Нет, нет! Подожди! Вера . . . Вера . . . Что-то промелькнуло . . . Что-то чудесное. Промелькнуло и исчезло . . Нет, не могу вспомнить!

Долго еще безумными глазами блуждал он по комнате, стараясь за что то зацепиться в своей ослабевшей памяти; нащупать что-то, что вот-вот появится и опять исчезнет, появится и — исчезнет . . . Хотелось вспомнить . . . Впрочем, может быть вовсе нечего было вспоминать? Просто что-то померещилось, чего в действительности не существовало.

А однажды он, сидя с Лизанькой, и внимательно следя за ее руками, которые что-то вязали, вдруг дико вскрикнул.

— Что с вами? — испугалась Лизанька.

Побледневший, с трясущимися губами, Николай едва проговорил:

— Ужасное . . . Мне сейчас показалось что-то ужасное. Так отчетливо рвались предо мной гранаты, летели в стороны человеческие ноги, жидкие мозги, вывороченные кишки . . . Что это?

— Успокойтесь, выпейте чаю, — посоветовала Лизанька.

После чаю страшные картины войны действительно исчезли. Вновь память заволокло спасительной пленкой, благодаря которой жизнь упрощалась, ограничиваясь узким кругом Лизаньки и ее матери.

Но все чаще и чаще перед Николаем стали всплывать какие-то картины. Сначала он их пугался, но потом, наоборот,

с бьющимся сердцем запечатлевал в памяти. Куски прежней жизни выскакивали и снова таяли. Сначала это все были обрывки из более близкого прошлого, а потом они стали углубляться все дальше, уходили в более отдаленное время. Николай уже вспомнил себя в госпитале. Вспомнил войну. Ее ужасы встали пред ним, как будто все это было только вчера. Так медленно, через прошлое, возвращался он к жизни.

И вдруг вспомнил Ваську и Анатолия, своих закадычных приятелей, с которыми отправился на войну.

«Надо написать этому шалопаю».

И был рад, что сохранил конверт, где указывался адрес его друга.

И вдруг однажды ночью, когда все было так спокойно и тихо, как спокойна и тиха была его душа, он вспомнил и жену и свою дочурку . . .

Уже более двух лет он покинул семью. Может быть, жена, не получая вестей, забыла о нем, считает мертвым, вышла замуж за другого? . . . Но нет! А письмо? От нее ведь было письмо! Боже, какое счастье! Он так был рад, что в свое время не выбросил получаемые им письма. С наслаждением перечитал ласковое, полное заботы письмо жены. Теперь оно было полно смысла. Его не забыли! Не похоронили! И стал испытывать мучительное желание скорей уехать к семье.

Лизаньку уже называл «Лизаветой Ивановной» — не смел иначе. Просил у нее прощения за свою странную любовь.

— Я всегда безумно любил свою жену. Вера — мой кумир. И Танюша, дочурка моя . . . Я не знаю, как мог я, хотя бы временно, их забыть. Простите меня, Лизавета Ивановна. Вы — добрая, хорошая женщина. Вас следует любить по-настоящему. Я же любил вас случайно . . . по ошибке. Может быть, и вы найдете своего мужа, если только и он не лежит где-нибудь без памяти, потеряв связь с миром.

Лизанька плакала, провожая его на вокзал. Она уже полюбила этого сморщенного урода, которого судьба бросила ей на руки. То была «беспамятная» любовь, «случайная», как выразился Николай, но он вложил в нее столько же

чувства, как и в настоящую. И Лизанька простодушно приняла эту любовь и с нежностью уложила ее в свое отзывчивое сердце.

Лизанькино солнце любви закатилось. Для Николая же, наоборот, всходила новая заря, освещающая широкую, полную надежд дорогу.

Правда, и внешне и внутренне Николай изменился, и в душу вкрадывались сомнения, подойдет ли он своим новым перерожденным телом к прежней рамке жизни? Примут ли его таким, как он стал? Поймут ли? Было немножко страшновато. Но так хотелось выбраться из странного зыбкого настоящего, что зажмурившись от всех сомнений, он робко ступил на открывшуюся перед ним дорогу. Доверху наполненный счастьем, он протянул руки навстречу своим хрупким надеждам.

Чужой праздник

Стояли крепкие рождественские морозы. Суровая сибирская зима сковала всю природу, и тайга казалась притихшей, насторожившейся и бесконечной из-за своего однообразия.

Может быть, это однообразие и навеяло бы на наблюдательного путешественника глубокие мысли о беспредельном, вечном; и может быть, он не раз открыл бы свою записную книжку. А уснувшие ели-великаны, запушенные чистым нетронутым снегом, и могли бы вдохновить художника и украсить его полотно. Может быть, в этом зимнем молчаньи тайги и была своя красота, но все, кто трясся в длинном беженском поезде, не чувствовал и не замечал этого. Только плотнее закутывались в ту одежду, что удалось захватить с собой, чтобы согреть свои иззябшие тела. И, забывая об опасности заразиться тифом, крепче прижимались друг к другу, чтобы не упустить излучаемое человеком тепло.

Невероятно донимали вши. В туго набитом товарном вагоне от спертого воздуха кружилась голова, и трудно было разобраться: начинается ли это тиф, или же просто не хватает свежего воздуха.

Татьяна Петровна крепче прижимала к груди восьмилетнего сына и незаметно от мужа, чтобы не показать своей слабости, крестилась: «Боже, дай нам благополучно добраться до Красноярска! И сделай так, чтобы машинисты больше не бунтовали. Господи! Помоги!»

Саша не спал, но как взрослый делал только вид, чтобы успокоить мать. Вот опять остановка. Он открыл глаза и испуганно посмотрел на мать. Генерал Плотников вышел из вагона, но через минуту вернулся.

— Машинист опять? — спросила мужа Татьяна Петровна.

— Нет, покойник.

— А . . .

Уже больше недели тянулись они по тайге, спасаясь от наступавших красных. Ехали медленно, часто останавливались. Болели, умирали . . . И когда умирали, то ехавший тут же среди беженцев священник в штатском быстро прочитывал отпускную молитву и покойника выносили из вагона. Оставив тело на первой же станции или полустанке, не задерживались погребением, а торопливо опять залезали в вагоны и ехали дальше.

— Мама, завтра Рождество? Да?

— Спи, Саша! А то ночью опять, может быть, не дадут спать — ничего не известно.

Рядом с Татьяной Петровной сидела молодая женщина, вся седая, с грудным младенцем на руках, который, не переставая, плакал.

«Наверно, у него тиф», — думала Татьяна Петровна и инстинктивно поворачивалась к ней спиной, чтобы ее вши не переползли на Сашу.

—Аннэт! Аннэт! Taisez vous! — хриплым голосом кричал из противоположного угла красивый красный попугай в клетке, которого везла очень старая дама с трясущейся головой и в совершенно вытертом бархатном пальто на вате.

Попугай уже всем надоел своими однообразными выкриками. Но старая дама со слезами на глазах просила не выбрасывать его.

— Это все, что у меня осталось, — говорила она, тряся головой и ласково просовывала в клетку костлявый палец, который попугай хватал клювом и так держал до тех пор, пока у старухи не затекала рука. Тогда она тихонько освобож-

дала палец, и попугай опять начинал кричать: «Аннэт! Аннэт!»

Среди бреда тифозных и плача детей этот крик был самым трагическим.

— Суньте ему палец, графиня, — говорил тогда кто-нибудь с более слабыми нервами. Старая графиня послушно совала в клетку свой затекший палец, и птица опять унималась.

Поезд стал брать подъем. Скрипя, замедленно стучали колеса. Последний вагон, как бы нехотя, переваливался справа налево и вдруг, качнувшись, как то неловко дернулся и стал замедлять ход. Через несколько минут он, оторванный от поезда, уже радостно катился в обратную сторону под уклон, все усиливая и усиливая ход.

В одну секунду все здоровые пассажиры повскакивали со своих мест и бросились к выходу. Готовые ко всяким превратностям судьбы, они через чужие плечи и головы старались лично убедиться, как их вагон быстро несло опять к месту их отступления, и как с такой тревогой считанные версты, отделявшие их от красных, шли на смарку.

Генерал Плотников, высокий, седой, с нависшими черными бровями, вместе с другими провожал глазами удалявшиеся вагоны, которые издевательски вихляясь, исчезали вдали за уводящим их паровозом.

— Папа! Папа! — закричала Саша, — мы к большевикам едем?

Ему никто не ответил.

Наступило жуткое молчание от сознания невозможности чем либо помочь несчастью. Даже все время плакавший ребенок на руках молодой седой матери замолк. Его посиневшее личико с полуоткрытым ртом говорило о том, что он замолк навсегда для этой неприветливой и нелепой жизни, но мать не хотела замечать его смерти и лишь крепче прижимала труп к своей груди.

Вдруг в углу кто-то заплакал. А попугай, потеряв палец графини, опять стал настойчиво звать «Аннэт» и требовать тишины.

Вагон, докатившись до подъема, стал терять инерцию и через несколько минут, покачавшись в долинке, остановился. Некоторые с облегчением вздохнули:

— Слава Богу!

— Чему вы радуетесь? Ужас только начинается, — облил какой-то пессимист своей холодной рассудительностью.

— Что делать? Господа, что мы должны предпринять? — раздавались отдельные взволнованные голоса.

И вдруг всех охватило оживление. После молчания заговорили все сразу. Было высказано много мнений и предложено несколько проектов. В конце-концов, кто помоложе, здоровый и без детей стал вылезать из вагона, чтобы пешком добраться до ближайшей станции.

— До вечера дойти не успеем. Лучше переночуем здесь, а рано утром двинемся, — говорил генерал Плотников в числе других остающихся.

Но ночевка не удалась.

Не прошло и часа, как вдали показался конный отряд. Мелкой рысью разведчики приближались к вагону. Уже можно было различать их остроконечные со звездой шапки.

Вагон, снаружи спокойный и безразличный, внутри весь горел волнением и рокотал взволнованными голосами. Захватывая, как попало, вещи, беженцы один за другим выскакивали из вагона и бежали прямо под откос, вперед, через сугробы снега, по направлению к лесу, лишь с единственной мыслью: скрыться от красных.

— Стой! — раздалась команда, и всадники взяли на прицел.

Татьяна Петровна, трясясь нервной дрожью, схватила мужа за руку.

— Не рискуй! Будь, что будет. Все равно ничего не поделаешь.

— Судьба! — безнадежно проронил генерал и остановился.

Красные спешились. Как голодные шакалы, бросились они в вагон, где остались лишь больные, и стали обыскивать их, лежащих без сознания на полу.

— Taisez vous! — дико кричал попугай и метался и бился своими красивыми крыльями об железные прутья клетки.

Генерал в общем ряду с другими офицерами стоял с невозмутимым, гордым лицом, готовый отвечать перед своими судьями за унаследованные им традиции и веками создававшиеся убеждения.

По отданному распоряжению построенные офицеры зашагали вдоль полотна, отсчитывая минуты, приближающие их к неизбежному концу.

Они шли быстро под конвоем всадников, и Татьяне Петровне с Сашей было трудно поспевать за ними. Они то бежали и неожиданно проваливались в снежную яму, то обходили встречающуюся на пути корягу, чуть прикрытую чистым ровным покровом снега. Тяжело дыша острым морозным воздухом, они лишь старались не терять из виду высокую статную фигуру в серой шинели, под которой билось дорогое им сердце.

Впереди показались огни. Вскоре можно было уже различить стоявший на путях бронированный поезд с угрожающе выставленными на площадках орудиями. Татьяна Петровна издали видела, как группа офицеров исчезла в одном из этих вагонов. Ей показалось, что ее муж, входя в вагон, оглянулся, ища их глазами, но она не была уверена, видел ли он их, бегущих за ним по протоптанным им же следам.

Саша махал ему рукой и кричал:

— Здесь мы, папа!

Но слышал ли генерал Плотников этот ослабевший детский голос, входя в бронированный вагон?

Кругом стояла стража, и взволнованную молодую женщину с восьмилетним мальчиком никуда не пропускали. Татьяна Петровна с Сашей остались на свободе и могли ид-

ти, куда хотели и делать, что хотели. Но только им некуда было идти, и они не знали, что им делать.

Надвигался вечер. Темнел короткий зимний день.

В только что оставленном там позади товарном вагоне, который с таким, чисто человеческим, коварством предал беззащитных людей, было хотя и неуютно, но там хоть можно было спрятаться от стужи. На этой же маленькой станции даже и домов не было видно.

Куда идти?

Саша совсем посинел от холода.

— Мамочка! Я устал... Спать хочу!

— Еще немножко, Саша, потерпи... Пойдем прямо, может быть, мы найдем жилой дом.

«Уж лучше бы и нас арестовали», — думала Татьяна Петровна, шагая по пустынной станции.

— Вон огонек! Сашенька! Еще немножко подвигай ножками: сейчас мы придем в домик, отогреемся, может быть чаю дадут...

— Чаю... — как эхо, отозвался Саша.

— Да, да! Горячего чаю!

Окрыленные надеждой, они подошли к небольшому одноэтажному, с претензией построенному, дому. Окна были ярко освещены, мимо мелькали тени, большие и маленькие, — повидимому в нем было много народу, и жизнь в нем била ключом.

Вдруг Саша вскрикнул:

— Мама! Елка!

Закостеневшим пальцем он показал на одно из окон, где стояло красиво убранное рождественское дерево. Забыв холод, Саша прильнул к заиндевевшему окну, стараясь поближе рассмотреть красавицу-елку.

— Сюда, Саша! Идем! — звала Татьяна Петровна, дернув звонок у незнакомой двери.

Радостный Саша бросился на зов матери: сейчас откроются двери, и они войдут в этот сказочный дом, где внутри тепло, сытно и где стоит елка с серебряными ангелами и ват-

ными дедами-морозами, совсем такими же, какие были у Саши в прошлом году. Он прекрасно помнил этого мягкого красивого деда-мороза с наклеенным бумажным лицом. Он очень полюбил его и долго потом клал его на ночь с собой в постель.

Дверь открыла молодая, по праздничному одетая, женщина. Ежась от холода, она с недоумением посмотрела на Татьяну Петровну и Сашу, внимательно оглянула узел в руках Татьяны Петровны и спросила:

— Что вам?

— Мы... только что с поезда... беженцы. Не найдется ли у вас угла? Мы не знаем, куда идти, нам некуда, у нас...

— С поезда? — перебила дама и вдруг, почувствовав, что стоять у открытой двери холодно, она, закрывая рукой горло, торопливо заговорила:

— Простите, я ничего не могу для вас сделать. У меня дети, а вы, наверно, вшивые, еще тиф занесете. У меня дети, — значительно повторила она, — простите...

Дверь уже закрылась, а Татьяна Петровна с Сашей все еще не двигались с места. Татьяна Петровна уже несколько раз прочла имя, отчество и фамилию начальника станции на медной дощечке, прибитой на двери, но в ее голове не укладывались ни фамилия, ни имя. И то, что она не могла этого запомнить, почему то мешало ей сдвинуться с места.

— Мамочка, почему она не хочет нас впустить? Хотя бы только в переднюю. А? Мамочка, почему ты ей не сказала про переднюю?

— Идем, Сашенька... — тихо сказала Татьяна Петровна и, с трудом оторвав застывшие от холода и усталости ноги, они медленно пошли от дома.

Саша начал тихонько хныкать. Татьяна Петровна не нашла в себе сил его успокаивать. Горячие слезы капали из широко раскрытых глаз мальчика и текли по его захолодевшим щекам; согревая лицо, собирались они на шерстяном платке, обмотанном вокруг его шеи и образовывали там сосульки.

Татьяна Петровна не заметила, как они опять оказались на железнодорожном полотне. Бронированный поезд стоял все там же и, проглотив группу офицеров, был таинственным и недоступным. Так же угрожающе смотрели прямо перед собой дула орудий, предостерегая всякое проявленье жизни. И все вокруг как то замерло.

Тихо. Только Татьяна Петровна с Сашей, как бы забытые всем миром в эту холодную рождественскую ночь, одни бродили, не зная, куда себя деть.

Вдруг где то на запасном пути они увидели конский вагон. С затаенной надеждой, едва передвигая ноги, направились они к нему.

Через приоткрытую дверь вагона виднелась на полу солома, какие то жестяные предметы, которые в темноте нельзя было рассмотреть.

— Пустой! Никого нет!

Радостно забились их сердца, как будто они входили в шикарный особняк, предоставленный им в полную собственность.

Солома еще пахла лошадьми, но зарываясь в нее, как можно глубже, Саша предвкушал приятный отдых и довольно улыбнулся матери. Ему вдруг вспомнилась красавица-елка в доме начальника станции, такая нарядная, вся в блестках. От голода у него слегка звенело в ушах, но, засыпая, он думал, что это бумажные ангелы с елки звонят в серебряные колокольчики. И ему было радостно, и он улыбался.

Верочкин роман

Да, она любила Сергешку.

Любила его мягкие каштановые волосы, в которые так приятно было зарыться носом; его узенько подстриженные усы, красиво подчеркивавшие крупный рот с сильными белыми зубами, которые иногда теребили Верочкину щеку и даже кусались. Верочка тогда громко заливалась серебристым смехом и, отбиваясь от рычащего Сергешки, кричала:

— Собачка! Ты — собачка! Ай, больно!

Верочка также любила размеренные, спокойные движения его больших сильных рук, которые ловко ловили ее юркое худенькое тельце и победоносно водружали себе на колени. Тогда Верочке делалось стыдно.

— Я не маленькая, — обидчиво заявляла она: — мне уже десять лет. Через пять лет я буду почти ровесницей тебе и тогда выйду за тебя замуж.

— Хорошо, — отвечал Сергешка, — когда ты выйдешь за меня замуж, тогда будет другое дело, а пока ты еще только Шимпанзешка, которой место вот здесь . . .

Приподняв Верочку за обе руки, он ловко перевернул ее, и она оказалась у него на плечах.

— Вот, видишь, какая ты сразу большая стала, даже выше меня, — говорил он, важно расхаживая со своей ношей по комнате и неожиданно останавливаясь перед зеркалом: — Вот, смотри!

В зеркале отразилось круглое личико со вздернутым носиком и пытливыми серыми глазами; белокурая головка была всклочена, а две косички с пышными голубыми лентами болтались из стороны в сторону по синенькому клетчатому платьицу, из-под которого торчали две тоненьких ножки в черных фильдекосовых чулочках и черных же ботинках на пуговках.

— Не хочу! Не хочу! — запротестовала Верочка, недовольная своим видом в зеркале и, собрав нос в сборочку, стала слезать с Сергешкиных плеч.

Она кокетливо поправила сбившийся на сторону кружевной воротничок и сказала:

— Ты всегда надо мной смеешься, как над маленькой.

— Ну, не надо, не надо! Мартышка! Мы обиделись?

И торжественно став перед ней на одно колено, Сергешка преуморительно запел:

Милая Веруся,
Как я вас люблю.
Как я расцелую
Верочку мою.

Сделав губы трубочкой, он потянулся к Верочке.

— Ха-ха-ха! — звонко рассмеялась Верочка, но кокетливо полуотвернувшись от него, жеманно проговорила:

— Целоваться тоже нельзя, потому что мы еще не женились.

— Ах, какая строгая! Подумаешь! Но ведь ты же моя невеста, не так-ли? А с невестой можно целоваться.

— Сергешка! А ты, правда, на мне женишься? — серьезно спросила она, задумчиво уставясь на кончики своих ботинок с пуговками.

— Обязательно! Клянусь, моя богиня! Я — твой рыцарь до гроба. Проси и требуй от меня, чего хочешь! — с пафосом воскликнул он, но вдруг решительно встал с колена и совершенно серьезно сказал:

— Ну, а сейчас, обезьянка, я должен остаться один, ко мне должен прийти кое-кто.

Сергешка подошел к зеркалу и стал щеточкой приглаживать волосы, усы.

Верочка критически осмотрела его костюм, поправила платочек в боковом кармане и потом, смотря куда-то в сторону, как будто совсем равнодушно, спросила:

— А к тебе кто придет? Женщина?

— Почему ты так думаешь? — воскликнул Сергешка.

— А ты усы приглаживаешь.

Невольно улыбнувшись наблюдательности и лукавству этой маленькой женщины, он признался:

— Ты угадала: я жду гостью. Одну свою старую знакомую.

— Старую? — недоверчиво переспросила она.

— Ну, да: давнишнюю. Ну, иди, иди, Шимпанзешка, а то она может сейчас прийти.

Верочка сразу притихла. От звонкого смеха не осталось и следа. Сама того не замечая, она от напряжения мысли даже положила палец в рот. Опустив головку, она медленно пошла к выходу. Ее маленькое сердечко жгло ревнивое чувство к ожидаемой Сергешкой гостье.

Проходя через коридор, она вдруг остановилась. Ее осенила блестящая мысль. Глаза лукаво блеснули. Она оглянулась и, убедившись, что Сергешка на нее не смотрит, быстро шмыгнула под висевшие на вешалке пальто.

Не прошло и четверти часа, как в передней раздался звонок, и Сергешка со всех ног бросился отворять дверь.

— Наконец-то! Я так давно тебя жду, Валентина! Проходи сюда! Вот здесь положи свою шляпу; — говорил он, заметно волнуясь.

— Я немножко задержалась, Сергей, — мягким бархатным голосом заговорила вошедшая молодая женщина, останавливаясь у зеркала и снимая шляпу. Она по привычке провела рукой по нестерпимо-гладко зачесанным волосам, оттенявшим ее бледное, как бы усталое, лицо с томными, наполовину закрытыми тяжелыми веками, глазами, и подошла к Сергешке.

— Садись вот сюда, — говорил он, усаживая ее в удобное кресло и сам становясь позади него.

Он весь как-то съежился, как будто стал даже меньше ростом, то ли от неуверенности в себе, то ли из-за чрезмерного внимания к посетительнице, и действительно, вместо Сергешки сразу стал Сергеем...

— Муж не дает развода, — снова расстелился бархат Валентининого голоса: — он говорит, что вовсе не считает наш брак ошибкой и намерен продолжать жить попрежнему.

— Это немыслимо, Валя! Немыслимо! — с силой повторил Сергей, ломая пальцы.

— Я знаю, но что же делать?

— Предоставь это мне. Я сделаю все. Все, что в моих силах! Я готов чорт знает на что ради тебя, Валя. Я не могу больше! Я люблю тебя сильно.

Сергей склонился к ней, голова его упала, и он прижался губами к ее плечу.

Валентина обняла его одной рукой и прижалась щекой к его мягким каштановым волосам, в которые...

— И-и-и-ии... и... и... — раздался вдруг откуда то жалобный писк.

Сергей быстро отскочил от кресла на середину комнаты.

— И-и-и... и... — настойчиво неслось из-под кровати.

Сергей, в один миг сразу преобразившийся в Сергешку, бросился под кровать, приподнял покрывало.

— Мартышка! Это ты! Как ты сюда попала? Вылезай оттуда! Что ты там делаешь?

Писк усилился и перешел в безнадежно-жалобное рыдание.

— Вылезай! Обезьянка! Почему ты плачешь?

Сергешка насильно выволок из-под кровати плачущий синий клетчатый комочек с белокурыми косичками.

— Да это — девочка! — удивился бархатный голос, — а я думала, котенок.

Верочка не смотрела в сторону кресла, она не хотела показывать сопернице своего заплаканного лица и, стараясь

спрятать его, кулачками размазывала слезы, которые, смешиваясь с подкроватной пылью, образовывали на ее личике замысловатые узоры.

— А-а-а... — уже громко, по настоящему плакала она, не будучи в силах бороться против обильно льющихся из глаз слезных потоков.

— Не надо, не надо! Верочка! Моя Шиманзешка! Милая!

Сергешка обнял девочку за плечи и взволнованно прижал к себе.

— Не... не хочу-у-у... Ты... ты... целуешься с другой. А-а-а-а...

Она грубо оттолкнула его и, тычась в углы, как слепой котенок, выбежала из комнаты, оставляя позади себя растерянного Сергешку и недоумевающий бархатный голос, с беспокойством спрашивающий:

— Что это за девочка? Что с ней?

Очутившись на дворе, Верочка, не останавливаясь, пробежала жилые квартиры, сараи, пока запах конюшни не дошел до нее. Тогда знакомой дорогой она обошла конюшню сзади и очутилась у самого забора, где между ним и задней стеной конюшни с одного угла оставался узкий, заваленный сеном, проход. Худенькое тельце Верочки как раз подходило к этому проходу. Она залезла в него, подогнула ноги и, упираясь коленками в дощатую стенку, оказалась в висячем положении. Она тяжело, не по детски, вздохнула, а из груди ее вырвался жалобный, совершенно детский вопль. Упав головой в сено, она вволю отдалась слезам, первый раз в своей коротенькой жизни испытывая горечь мужской измены.

Ее маленькое сердечко надрывалось от рыданий, и слезы обиды и разочарования в изобилии капали на сухое душистое сено.

Ожидание

Темнота давно уже заполнила все уголки квартиры, но Клавдия все не зажигала лампы. Было близко к девяти часам. Наконец, она встала с удобного, располагающего к отдыху, кресла и дрожащими руками стала зажигать свечки на елке: Аркадий сказал, что придет ровно в девять. От наивного мигания тоненьких разноцветных свечек в комнате стало уютно и празднично.

Клавдия заглянула в окно: рыхлый снег лениво падал на землю, на деревья, удобно устраиваясь на подоконниках и карнизах.

«Найдет ли? — беспокойно метнулась у нее мысль: — Дом стоит в стороне от дороги, так легко не заметить его среди сугробов снега и проехать мимо... Не заметить! Проехать мимо! Возможно-ли?»

Клавдия нервно хрустнула пальцами. Она вспомнила, как подробно рассказывала Аркадию о своей школе, останавливаясь на всех достопримечательностях дороги, ведущей в поселок, небольшой, но разбросанный, как бы наспех раскинувшийся среди вдруг забившего нефтью поля. Аркадий даже улыбнулся на ее подробные объяснения: «Я как будто уже побывал в вашем поселке».

Но Клавдия, не боясь показаться смешной, продолжала сообщать ему дальнейшие подробности о своем медвежьем угле: как будто торопилась пересказать все, что накопилось

у нее за все годы отшельничества. А потом, вырвав листок из записной книжки, принялась толково и обстоятельно рисовать план.

— А здесь вам лучше выйти из машины и просто спросить квартиру учительницы начальной школы: вам всякий прохожий укажет. Конечно, если вы вообще встретите прохожего, — тихо закончила Клавдия.

Она вспомнила, как Аркадий, пока она объясняла, с какой-то странной улыбкой слушал ее. Что-то отеческое и снисходительное было в этой улыбке.

Ну, да, конечно, она была смешна и жалка в своей неприкрытой радости видеть его. Она и не хотела и не могла скрыть этого. Хотя, может быть, все же следовало бы хоть немного пофальшивить, на момент окунуть слова в холод, натянуть на лицо легкое безразличие. Но глаза Клавдии против воли блестели, а голос молодо звенел, как двадцать лет назад, когда она впервые встретилась с Аркадием, когда . . . Ну, конечно, с тех пор прошло двадцать длинных лет, тяжелой поступью прошедшихся по когда то круглому, миловидному личику, оставив следы лапок у глаз, пробороздив лоб морщинами и выдвинув раньше где то скрывавшиеся кости, заострив и сделав все лицо строгим, сухим.

«Может быть, потому он так и всматривался в меня, что изучал во мне новое, отдаленно напоминавшее старое . . . — подумала Клавдия: — Но ведь и он тоже изменился: располнел, волосы поредели, на висках седина . . . Но глаза все те же: самоуверенные, чуть насмешливые».

— Вы, наверно, очень хорошая учительница, — сказал он, когда она передала ему наскоро вырванный листок с планом: — так хорошо умеете объяснять.

Была ли это похвала или насмешка, Клавдия не поняла.

Только бы пришел! Только бы пришел! А там уж она сумеет его удержать. О, на этот раз она уже не выпустит его так легкомысленно, как двадцать лет назад!

«Только бы не заблудился! Только бы нашел! — опять нервно пронеслось у нее в голове: — Но, нет, — сейчас же

перебила она себя: — Аркадий не из таких, которые могут «затеряться», «не дойти до намеченной цели». Да, в конце-концов, он должен меня найти», — решила она, уверенно вскинув вверх острый подбородок, как бы стараясь убедить себя в чем то; а по телу ее пробежала непрошенная дрожь, выдавшая волнение. Привычным жестом она натянула на плечи теплую, поношенную шаль. Но тотчас же резко сорвала ее с себя и быстро понесла в спальню.

«Подальше с глаз, чтобы случайно опять как-нибудь не взять в руки». Ей вспомнились ядовитые слова ее помощницы по школе, сказавшей как то, что она с трудом представляет себе Клавдию без этой шали: так она к ней прилипла. «Поношенная, немодная . . . Но вы так дополняете друг друга. Вы могли бы позировать для картины: «Одинокая, брошенная дева» . . .

Да, конечно, Клавдия была старой девой. Теперь, к сорока годам, это стало вполне очевидным.

«Поношенная дева». . . Она горько усмехнулась, но вдруг опять вскинула головой, как бывало делала девочкой, когда решалась на что-нибудь. Аркадий всегда говорил в таких случаях, что у нее это очень мило получается. Но теперь от этого движения ее острый подбородок резким квадратом выступал вперед, подчеркивая некрасивую худощавость шеи. Глаза Клавдии загорелись жизнью. Ей страшно захотелось счастья. Настоящего, большого. И ей казалось, что счастье это должно быть тем больше, чем дольше она его ждала.

«Вот возьму и докажу «всем им», что и в мои годы можно быть счастливой! Ведь я так хорошо знаю Аркадия! Знаю, что ему нужно от женщины. И теперь я во всем пойду ему навстречу. Теперь я не буду такой глупой. Он ведь тоже любил меня. Любил» . . .

Клавдия как бы почувствовала какую-то ценность в себе. Она гордо выпрямилась, одернула спереди белую кофточку в прошивках и прошла мимо зеркала, как бы ища подтверждения своей женской силе. Из зеркала на нее глянуло

худое, бледное лицо с умными, блестевшими радостью надежды глазами.

— Ну? — вызывающе спросила она зеркало: — Еще поборемся! — уверенно добавила она и прошла к окну: — Аркадий должен вот-вот приехать.

«Может быть потушить свечи, а то догорят раньше времени, — мелькнуло у нее практическое соображение, но тут же себя остановила: — Нет, Аркадий должен все застать в самом праздничном виде».

Поймав себя на том, что все время ходила взад и вперед, Клавдия решила успокоиться. Подбросив в камин полено, она села в старое кресло, где обычно проверяла тетради учеников или же вязала.

«Только шали не достает», — невольно подумала она, но сейчас же отогнала соблазняющую мысль: шаль была символом изношенного, старого, а перед ней открывалась новая жизнь.

Сухие дрова весело, наперебой, затрещали. Мягкая теплота ласково потянулась к Клавдии, наполняя истомой и наливая веки тяжестью.

«Так еще и заснешь! — нервно вскочила она с удобного кресла: — Пожалуй, заведу фонограф».

Подойдя к порыжелому шкафу, она стала выбирать пластинки.

«Аркадий любил Шопена» . . .

Но Шопена была только одна пластинка: революционный 12-й этюд на одной стороне и похоронный марш на другой. Клавдия выбрала этюд, который когда то играла сама.

Когда квартиру огласили бравурные звуки этюда, Клавдия почувствовала, что она не одна. На нее нахлынули воспоминания. Машинально опять опустившись в привычное, усидевшееся кресло, она стала перебирать в памяти полузабытые факты, со звуками знакомой музыки выплывшие как живые. Она совсем не слышала Шопена, не понимала «его» музыки, она видела лишь страницы своей личной жизни,

напевавшие ей свою собственную музыку. С каждой новой музыкальной фразой ярко выступали дорогие мелочи ее короткого и единственного романа. Эти мелочи, где-то искусно припрятанные, теперь выплывали и настойчиво стучались в крепко запертую было дверцу воспоминаний. Их таинственный клубок послушно разматывался, пока не остановился на последней случайной встрече за несколько дней до Рождества, когда Клавдия поехала в город за покупками.

«Был ли Аркадий рад этой встрече?»

Клавдия затруднялась на это ответить. Но во всяком случае, он обещал прийти. Он ведь мог этого и не обещать, если бы действительно не хотел ее повидать, «повспоминать прошлое», как он сказал. Он сделал особенное ударение на этом слове, и Клавдия поняла, что он хотел сказать. И с ним жизнь тоже ведь не была слишком ласкова. Его тоже, очевидно, охватило то радостное чувство, когда неожиданно встречаешься с человеком из далекой юности. Это чувство молодит. Отряхнув с себя давящие обломки отдельных событий, составивших жизнь, выпрямляешь тогда плечи и вновь как будто возвращаешься к золотой молодости.

Пластинка доиграла этюд и стала хрипеть. Клавдия оторвалась от воспоминаний, от удобного кресла. Перевернув пластинку, она долго рассматривала ничего не говорящие царапины похоронного марша. Подумала и опять поставила тот же этюд: было жалко оторваться от прошлого.

«Да, я — старая дева, — думала Клавдия, — но ведь из-за Аркадия же моя жизнь сошла с рельс и пошла по совсем непредвиденному пути. Когда расстались, не поняв друг друга, захотелось совсем забыть себя, отречься от всего, уйти, уйти... куда-нибудь подальше, на край света. И вот, в результате — этот медвежий угол приютил молодость. Чужие, грубые дети отняли мои радости»...

Клавдия опять стала нервно ходить по комнате.

Аркадий все не шел.

Свечечки на елке почти догорели, и комната стала наполняться грустью приближающегося конца.

Проходя мимо зеркала, Клавдия опять задержалась и критически строго еще раз осмотрела свою высокую, сухопарую фигуру. Глаза уже не горели, их стала заволакивать привычная, усидевшаяся в них, скука и безразличие. Лицо было бесцветное, поблекшее.

— Не приедет! — решила она, подходя к окну. Все тот же снег, все та же равнина лежала пред глазами. Тишина и — никого на горизонте. Клавдия подавила вздох. С опустившимися плечами, усталой походкой подошла она к опять захрипевшему фонографу и перевернула пластинку. Торжественные звуки похоронного марша стали медленно вливаться в темнеющую комнату, одевая ее всю во что-то длинное, грустное. . .

Клавдия нервно передернулась: дрова в камине давно прогорели.

«Пожалуй, все же я и шаль — действительно единственные, неразлучные и верные подруги. Помощница права, и надо отбросить глупые мечты о каком-то несуществующем счастье».

Тяжелой походкой сразу постаревшей женщины она прошла в спальню и зябко закуталась в пренебреженную было шаль. Что-то детское, обиженное было в движении ее худых плеч. Она медленно вернулась к потухающей елке и устало бросила в кресло свое, не знавшее ласк, стареющее тело.

«Брошенная . . . Ненужная» . . .

И вдруг слезы, безудержные, тяжелые полились по ее лицу, сразу обмякшему, состарившемуся.

Свечечки на елке, помигав короткое время, как бы взывая к кому-то о помощи, потухли. Стало темно, и только поблескивали слезы на лице старой девы. Где-то далеко ударил жидкий деревенский колокол. Праздник, чуть было приоткрывший дверь, стал вкрадчиво уходить.

За окном больше не падал уставший снег.

Все пути ведут в Чанг-Чан

Выйдя из вагона, Ирина в нерешительности остановилась на перроне. Ее длинное, вынужденное путешествие, почти через всю Россию, повидимому, наконец, закончилось этим небольшим китайским городом. Он был шумным и полон чисто восточной суетливости. Ошеломленная непривычным гортанным говором толпы и выкриками разносчиков, тут же что-то на лотках продававших, Ирина неуверенно стояла со своим чемоданчиком в руке, не зная, что предпринять.

Был ранний час, но уже было жарко, июль был в зените, и сухой горячий воздух вызывал испарину. Не выпуская из рук чемодана, единственной собственности, уцелевшей в горьком беженстве, Ирина устало обтерла платком измученное дорогой лицо.

— Я вижу, барышня как будто в затруднении. Не могу ли я чем-нибудь быть ей полезной?

Ирина вскинула удивленные и одновременно испуганные глаза на незнакомца. Это был китаец, одетый по-европейски. Галантно приподняв шляпу, он осклабился в улыбке и в упор смотрел на Ирину.

— Надеюсь, барышня извинит мое, быть может, неудачное вмешательство, — продолжал незнакомец, — но мне хотелось бы помочь ей. Повидимому, барышня впервые в этом городе. Ей все незнакомо.

Ирина продолжала растерянно молчать. Было так необычно слышать правильную русскую речь из уст этого, по виду совершенного китайца. Такое несоответствие не укладывалось в голове. Да и следовало ли вообще поддерживать разговор со случайным прохожим в действительно совершенно незнакомом городе? Еще будучи девочкой, Ирина что-то читала о Китае, о его полных коварства жителях и о загадочных похищениях белых девушек, продаваемых потом в рабство. Эти скудные сведения о Китае и китайцах сковали язык Ирины, и она лишь с испугом продолжала рассматривать стоявшего перед ней высокого, опрятного незнакомца, с самым обычным, хотя и хорошо выбритым, китайским лицом. Плоский лоб, широкий, растянутый нос и раскосые, совершенно черные, как угли, острые, блестящие глаза — были характерны для его нации. Волосы его были, впрочем, аккуратно, по-европейски, подстрижены, но тоже были с характерным для китайца блеском и лоснились от жира. Он казался привлекательным, когда не улыбался своей широкой, оскаленной улыбкой, некрасиво открывавшей верхние десны и желтые зубы. Но желая, вероятно, быть приятным, он почти не убирал со своего широкоскулого лица так некрасившей его улыбки.

— Я понимаю вас, что вы боитесь заводить знакомство на улице, — как бы угадал он мысли Ирины, — но я должен вас предупредить, что я в этом городе хорошо известное лицо. При этих словах он вынул из жилетного кармана визитную карточку и подал ее девушке. Ирина машинально приняла карточку.

Иван Иванович Тяньчин
переводчик

прочла она. Тут же стояло название и адрес торговой фирмы, а поперек карточки столбиком шли китайские иероглифы, вероятно означавшие фамилию и титул Ивана Ивановича.

— Я не боюсь вас, — через силу, наконец, выдавила из себя Ирина, — но только я, действительно, не уверена, следует ли мне . . .

Она запнулась и, покраснев, опустила глаза.

— Вы — беженка? — спросил Тяньчин.

— Да.

— У вас есть в этом городе знакомые?

— Нет, нигде нет никого: родителей я потеряла, их убили красные . . . Наш дом разграбили и сожгли, я принуждена была бежать, и вот . . . очутилась здесь.

— Це-це-це . . . — сочувственно зацокал языком Тяньчин: — Я очень сожалею. Вы — настоящая русская интеллигентная девушка. Я был бы счастлив оказаться вам полезным. Я могу рекомендовать хорошую комнату, чтобы не идти вам в гостиницу: я ведь понимаю, что для барышни это неудобно.

Ирина благодарно улыбнулась.

— О, я знаю русские обычаи, — ободренный ее улыбкой самодовольно похвалил себя Тяньчин: — У меня был русский друг. Очень близкий по душе.

Ирина внимательно слушала словоохотливого собеседника, его, несколько напыщенную, старательную речь. Было очевидно, что он хотел блеснуть своим знанием русского языка и отчетливо выводил окончания слов, тщательно произнося все буквы, слегка лишь картавя на шипящих и на «Р».

«Он, вероятно, в общем добрый и незадачливый человек», — с доверчивостью молодости подумала Ирина.

— Вы такая молодая и красивая, с вами легко может случиться неприятность. Ведь это — Китай, — тем временем говорил Тяньчин: — Я искренне советую вам не отклонять моего предложения быть вам полезным. Как говорит китайская пословица: «Лучше зажечь одну маленькую свечку, чем проклинать темноту».

Ирина неуверенно оглянулась вокруг на горланящую бестолковую толпу, бедно, даже нищенски одетых китайцев, снующих здесь и там, голодными глазами высматривающих поживу, и ей, несмотря на выработанную во время тяжелого

беженского пути самостоятельность, стало не по себе. Здесь, в этом китайском городе, действительно, все было иначе и, пожалуй, прав ее случайный знакомый, этот европеизированный китаец, предлагающий свое покровительство. Отдаленно он, все же, принадлежит к ее классу с его понятиями и его мировоззрением, и она доверчиво взглянула на него.

«В конце концов, я же — взрослый человек, — с гордостью заключила она: — и всегда могу дать отпор, если он меня поведет куда-нибудь не в надлежащее место».

— Куда же вы рекомендуете мне направиться для ночлега? — осторожно спросила она.

— Только к миссионеру, — с достоинством ответил Тяньчин: — Он — англичанин, но живет как китаец. Кроме английского он свободно говорит по-китайски. Очень располагающий к себе человек. Я уверен, что у него найдется комната для вас. Вы говорите по-английски?

Ирина отрицательно покачала головой. При упоминании имени миссионера она преисполнилась доверия к Тяньчину и направилась к выходу.

— Я думаю, что должна быть вам очень и очень благодарна за то, что вы выбрали меня из толпы и приняли такое живое участие.

— О, выбрать вас из толпы было не трудно: вы так выделяетесь... А благодарностью с вашей стороны, я надеюсь, будет наша дружба, — с достоинством сказал Тяньчин, беря из рук Ирины чемодан и быстро окидывая ее худенькое, бледное, но очаровательное своей молодостью, лицо, всю ее тонкую, более чем скромно одетую, фигурку.

— У вас настоящий русский тип: блондинка с голубыми глазами, — вскользь заметил он и громко крикнул извозчика. Вознице он сказал всего лишь две коротких фразы по-китайски, и тот понимающе несколько раз кивнул головой.

— Как интересно, что вы умеете говорить и на китайском и на русском языке, — заметила Ирина: — и кажется даже и на английском?

Тяньчин сделал небрежный жест рукой.

— Я с детства рос в русской семье. Их сын, как я уже сказал, был моим близким другом. Он научил меня и читать и писать по-русски, и я ему очень за это благодарен, — с некоторой важностью добавил он.

— Вы действительно должны быть очень благодарны вашему другу, — сказала Ирина, — ваш русский язык очень хорош, только небольшой акцент остался... А где теперь этот ваш друг?

— К сожалению, он совсем уехал отсюда. Он — художник и живет сейчас в Пекине. А вот мы и приехали!

Миссионер жил в хорошем, европейском доме, но все убранство квартиры, как и одежда самого миссионера, было китайское. К Ирине он отнесся с большим вниманием и отдал ей лучшую угловую комнату.

Ирина быстро освоилась с образом жизни в доме миссионера, привыкла к своей полукитайской обстановке. Кроме нее в доме жили еще два немолодых англичанина, один круглолицый голландец и неизвестной национальности старушка, говорящая на всех языках.

Сам миссионер был энергичный, строгий человек, весь в деле и заботах. Жильцов он пускал в свой, правда просторный, дом исключительно ради добавочного заработка, считая, что тот простак, кто не делает денег в Китае. Своей миссионерской деятельности он отдавал времени ровно столько, сколько это требовалось по обязанности, остальное же время встречал и провожал разных людей, постоянно толкущихся у него в квартире, и дом его, фактически, был проходным двором.

Ирина была довольна, что хозяин не вмешивался в ее жизнь и ни о чем не расспрашивал: она устала всем рассказывать о своей печальной доле эмигрантки. Все эти, хорошо упитанные иностранцы, давно живущие в Китае, все равно никогда не могли б осознать трагизма положения, в котором

очутилась молодая девушка, потерявшая не только родных и имущество, но и родину. И Ирина с удовольствием предвкушала одиночество в своей комнате, выходящей в сад, из которого свешивались ветки дикого винограда и прямо в окно любопытно засматривали глицинии.

Но насладиться одиночеством Ирине не удалось.

На другой же день, когда она еще была занята распределением своего немудреного багажа, кто-то осторожно постучал в раму ее настежь открытого окна, и среди густых веток винограда Ирина увидела широко улыбающегося Тяньчина.

— Я извиняюсь . . .

Он неуверенно засмеялся.

— Заходите, Иван Иванович, — приветливо ответила Ирина.

— Я не смею войти в вашу комнату. Извиняюсь, может быть вы вышли бы в сад, или мы встретились бы в столовой?

— Хорошо, я сейчас выйду в столовую, — согласилась Ирина.

Тяньчин сегодня был щегольски одет во все белое, в руках же он держал модную тирольку. Видимо, нарочитая щеголеватость стесняла его самого, и во всей его фигуре сегодня не было вчерашней уверенности. Осклабившись своей некрасивой улыбкой, он ниже, чем это делают европейцы, поклонился Ирине.

— Я извиняюсь, — в который раз повторил он, — я пришел прямо со службы. Я думал, что может быть вам что-нибудь нужно. Я знаю, легче пойти в горы и поймать тигра, чем раскрыть рот и просить что-нибудь у людей.

— Спасибо, мне ничего не нужно, — скромно ответила Ирина.

— Ничего не нужно. . . — как эхо повторил Тяньчин, нервно хлопая себя по коленям тиролькой.

Наступило неловкое молчание. Он окинул взором столовую миссионера, где они сидели.

— Хорошая квартира, — безразлично сказал он, думая о чем то другом: — И миссионер тоже хороший человек. Н-да... Правда, он не очень богобоязненный, но ведь тот, кто лепит изображение Будды, обычно не поклоняется ему . . . Н-да . . . Я извиняюсь, не знаю, как вас звать?

— Зовите просто Ириной.

— Ирина . . . Н-да . . .

— Хотя я и сказала, что мне ничего не нужно, — воспользовавшись новой паузой, сказала Ирина, — но я хотела вас спросить, к кому мне обратиться с предложением труда. Мне нужно куда-то устроиться, что-то делать, у меня деньги на исходе . . .

— Вот-вот, — оживился Тяньчин, — я с этим и пришел. Я как раз хотел вам предложить устроиться в нашей фирме. Я сегодня уже говорил с хозяином. Вы что умеете делать? Например, печатать на машинке?

— Нет, не умею.

— Н-да . . .

Тяньчин опять забегал глазами по комнате и остановил их на своих ослепительно набеленных парусиновых туфлях.

— Это — ничего, — наконец сказал он: — Вы читать и писать умеете? — он неловко засмеялся.

— Конечно, — улыбнулась и Ирина.

— Хозяину, правда, нужна в контору машинистка со знанием английского языка, но я устрою на это место вас, — с вернувшимся достоинством сказал он: — Приходите завтра утром, я постараюсь. . .

— Спасибо, — вспыхнула Ирина: — Вы так добры, я, право, не знаю, как вас и благодарить.

— Это — ничего, — скромно ответил Тяньчин: — А сейчас могу я расчитывать пойти с вами показать вам город?

Ирина с удовольствием согласилась.

Город был полон движения. На главной, торговой улице, по которой они шли, было людно и чрезвычайно шумно. Тут и там сновали нищие. Направо и налево были легкой

постройки лавки, сарайного образца, с выставленными наружу лотками со снедью. Тут была и рыба, и овощи, и фрукты, и сласти. Запахи перемешивались и кружили голову. Торговцы повылезали из лавок и громко выкрикивали свои товары, зазывая покупателей. Завидев Ирину рядом с Тяньчином, они бесцеремонно рассматривали ее и вслух отмечали ее достоинства. В длинных нанковых халатах, с длинными косами, они сильно жестикулировали, расхваливая свой товар. Тут и там, прямо на тротуаре, были расставлены жаровни, кухонные жестяные ящики, в которых уличные повара тут же приготовляли незадачливую горячую пищу. С непривычки Ирине стало плохо от острых запахов и сильного шума. Но Тяньчин, не замечая настроения своей спутницы, тащил ее то вправо, то влево, чтобы обратить ее внимание на те или иные китайские достопримечательности. И в этот момент он ничем не отличался от тех торговцев, которые, выйдя из лавок, расхваливали свой товар. Отыскивая все самое лучшее, самое интересное с своей точки зрения, он так же расхваливал свой небольшой, грязный, полу-европейский город.

Вот они свернули в боковую улицу, где были лавки, главным образом, с красным товаром. С вычурными вывесками с золотыми надписями и со свешивающимися лентами красной бумаги, бахромой прямо над головой, лавки эти были очень красочны, но усталость брала свое, внимание было притуплено, и Ирина едва отмечала всю их причудливость. Тяньчин же тащил ее все дальше и дальше. Теперь они уже шли по менее людной, но еще более вонючей улице. Какой-то, почти голый, нищий, с растравленными язвами на теле, увязался за ними. Он вприпрыжку бежал в двух шагах от них и нараспев тянул все одну и ту же фразу, прося подаяния. Тяньчин уже несколько раз грубо прогонял его, но назойливый нищий и не думал отставать и, подвывая, уже несколько кварталов шел за ними. Наконец, Тяньчин остановился и грозно напомнил ему о существовании полицейских. Только тогда нищий отстал.

— С ними иначе нельзя, — оправдывая свою грубость, пояснил Тяньчин: — Они того и гляди у вас или часы вытащат или карман вырежут.

Они шли мимо низких, грязных фанз. Здесь специфические запахи были еще сильнее и приторнее.

— Я устала, — наконец призналась Ирина: — вернемся домой.

Она едва держалась на ногах от головокружения. А Тяньчин, страшно довольный и прогулкой, и своей спутницей, и самим собой, не замечая отвращения на лице Ирины, радостно обещал в следующий раз показать еще более интересные места.

— В следующий раз мы с вами пойдем в городской сад. Там бывают все европейцы, все местное общество. Там есть открытая сцена, где поют и танцуют. Очень интересно! Завтра я увижу вас в конторе, — осклабился он на прощанье: — Приходите и прямо спрашивайте Ивана Ивановича — больше ничего! До свидания!

Следующий день был для Ирины опять полон новых впечатлений и переживаний.

Явившись в торговую фирму по покупке и продаже кукурузного зерна, где служил Тяньчин, Ирина тотчас же была проведена в кабинет, как называл Тяньчин, хозяина. Толстый и медлительный китаец, не выпуская изо рта длинной трубки, с напускной важностью встретил Ирину отрывистым приветствием. Он говорил только по-китайски и немного по-английски, и Тяньчин был переводчиком между ними. Впрочем, сам хозяин вообще говорил мало. Ирине показалось, что Тяньчин много добавлял отсебятины, переводя фразу за фразой, и хозяин, прекрасно это понимая, хитро посматривал на девушку своими полузакрытыми восточными глазами и лишь все сильнее окутывал себя клубами сладкого трубочного табаку.

В конце концов, Ирина вполне отчетливо уяснила, что ее принимают исключительно благодаря усиленной протекции Тяньчина, так как фирме была нужна машинистка. Ей было любезно предложено в свободные минуты пользоваться пишущей машинкой и, таким образом, находясь на службе, постепенно изучить машинопись. Пока же, фирма предлагала ей половинное жалованье, в расчете, что через месяц-два она уже будет перечислена на полное жалованье. Ирина была счастлива получать хоть сколько-нибудь и сразу согласилась на предложенные условия.

Ввиду того, что она не могла сама объясняться с хозяином, Тяньчин предложил ей все дела вести только через него.

Выходя из кабинета, Ирина чувствовала себя подавленной. Тяньчин еще несколько раз дал ей понять, что без его протекции ее никогда не приняли бы в такую уважаемую фирму и что вообще он здесь чрезвычайно влиятельное лицо, с которым сам хозяин весьма и весьма считается.

Ирина стала уставать от хвастовства и самовосхваления Тяньчина, но всячески превозмогла себя, чтобы оставаться с ним любезной: в конце концов, она на самом деле многим была ему обязана, и нужно было уметь переносить его бестактность.

Положенные часы в неуютной, душной конторе безалаберно проходили в распределении по ящикам составленных на китайском языке каких-то цветных бумажек, счетов. Ирина не могла уяснить, сколько же было служащих в фирме. В течение дня контору посещало много самых разнообразных субъектов, главным образом, китайцев. Некоторые из них приходили регулярно каждый день, вели себя как свои люди, и возможно были агентами фирмы. Но большинство было посторонними посетителями. Они входили и уходили, все похожие друг на друга, с неотъемлемым крепким запахом чеснока. Ирине стало казаться, что и она сама насквозь пропиталась этим запахом, и что даже ее вещи в комнате у миссионера отдавали им.

А Тяньчин, обычно при встречах с ней аккуратный и чистенький, здесь, в конторе, в обществе своих сородичей, терял всю свою напускную интеллигентность и отличался от них лишь европейским платьем. Он часто обращался к Ирине то с той, то с другой просьбой. То ему нужно было составить письмо на русском языке, которое потом он, тыча одним пальцем, сам перепечатывал на машинке; то просил у нее объяснения какого-нибудь непонятного ему слова.

Дела в конторе для Ирины в общем было мало, и она улучала каждую минуту, чтобы поработать на пишущей машинке. Но Тяньчин очень ей в этом мешал. Ей даже казалось, что делал это он нарочно, как будто боялся, что она слишком скоро встанет на ноги. Ему очень нравилась роль покровителя. И каждый раз, когда она усаживалась за машинку, Тяньчин был уж тут как тут с какой-нибудь из своих многочисленных просьб. Ирине уже давно надоела его слащавая оскаленная улыбка, его навязчивое к ней внимание.

— Ирина! Может быть, вам нужны деньги? Я могу выхлопотать вам аванс за полмесяца, — говорил он, являясь после службы к ней под окно ее квартиры.

— Я извиняюсь, — говорил он в другой раз, — не хотите ли вы пойти в китайский театр, или на музыку? Если лошадь арбу не будет тянуть, арба сама не пойдет. Хи-хи . . .

И получалось так, что Ирина безотлучно бывала с ним: днем в конторе, а вечером в прогулках по городу.

Один раз Тяньчин пришел особенно смущенный и, кладя на подоконник Ирининой комнаты какой то сверток, неловко засмеялся:

— Я извиняюсь, я думал, вам это может понравиться. До свидания!

Ирина долго не решалась развернуть сверток, перевязанный розовой ленточкой. Наконец, решилась. В цветную бумажную салфетку аккуратно было завернуто большое румяное яблоко, покоившееся на тонком, китайского шелка, носовом платочке с грубо вышитым фантастическим, ярко розовым цветком.

В первую минуту Ирина рассмеялась, настолько наивен был подарок, но потом ее одолела досада.

— Он, кажется, начинает ухаживать, — сердито подумала она: — надо это пресечь, пока не поздно.

На следующий день она мягко заметила Тяньчину, что ему вовсе не следовало делать преподношения, что это ее и стесняет и обязывает.

Тяньчин понял ее совсем иначе.

— Какие там стеснения! — возразил он: — Я просто думал, что вам это понравится, как нравятся подарки вообще всем женщинам. Вороны ведь на всем свете черные.

— Меня это обижает, — возразила Ирина.

Глаза Тяньчина вспыхнули и, не сдержавшись, он резко сказал:

— Вы, может быть, привыкли к дорогим подаркам. Знаете, у нас, у китайцев, говорят, что на вершине гордости не держится вода мудрости.

— Боже мой! Совсем не то, не то! — перебила его Ирина: — Вы меня не поняли.

— Нет, я вас понял, — с обидой в голосе возразил Тяньчин: — Вы сказали, что боитесь быть обязанной.

Разговор этот происходил в конторе. Как всегда, входили и выходили какие-то сомнительного вида китайцы. Один из служащих фирмы громко разговаривал с ними, и по его тону нельзя было понять, делает ли он выговор, или же просто отдает распоряжение. Но так или иначе, в конторе стоял шум от разговора этих двух китайцев, и Ирина едва расслышала, когда Тяньчин, понизив голос, значительно сказал:

— Ирина, в бумагу огонь не завернешь: я вас люблю . . .

Глаза его замаслились, он взял ее за руку и вкрадчиво, быстро продолжал:

— Я думаю, мы могли бы быть хорошей супружеской парой. Я — православный, вы — православная . . . Вы — бедная, у меня есть деньги. Вам не надо будет служить в конторе, когда вы будете моей женой. Мы переедем в хорошую квартиру. Я найду прислугу для вас, вы . . .

Ирина дальше не могла его слушать.

— Нет, нет! Что вы! — невольно вырвалось у нее. Она тотчас же спохватилась, но было уже поздно. Глаза Тяньчина вспыхнули злым огнем, он весь позеленел. Выпрямившись, он коротко воскликнул:

— Вот как!

Испугавшись выражения его лица, Ирина старалась его успокоить.

— Иван Иванович! Дело не только в том, что мы оба православные. Но во всем остальном мы ведь совершенно разные люди... И потом... потом я... я просто не хочу еще выходить замуж, я могу подождать: мне еще только девятнадцать лет.

— Чего ждать? Зачем? Вы все равно ничего лучшего здесь не найдете! — самодовольно выкрикнул он: — Если хочешь поймать рыбу, не забирайся на дерево — говорит китайская пословица.

Ирина была готова заплакать. Бедняжка вся дрожала от волнения.

«Боже, что это он говорит! Неужели же у меня действительно нет другого выхода, как только стать женой кукурузного короля?

— Я никогда не выйду замуж, никогда! — заплакала она.

— Я извиняюсь, — грустно понурил голову Тяньчин, — я вовсе не хотел, чтобы вы плакали. Извиняюсь.

Вечером Ирина столкнулась со старушкой лингвисткой, жившей у миссионера. Долго ее национальность оставалась для Ирины неразгаданной, пока однажды старуха не сообщила ей несколько фактов из своей жизни. И тогда выяснилось, что она — русская еврейка, бывшая когда то замужем за американцем, который по своим торговым делам разъезжал чуть ли не по всему свету, — отсюда и ее богатые знания языков.

Она очень симпатизировала Ирине и в этот вечер, перекинувшись с ней несколькими фразами, она обратила внимание на ее особую бледность.

— Здорова ли вы, милая девушка? — дружески спросила она.

Ее внимание вызвало Ирину на откровенность, и она передала весь свой разговор с Тяньчином в конторе и его предложение.

— Влюбился китаёза! — с сердцем сказала старушка: — Не поддавайтесь! Он хочет воспользоваться вашим положением. Такой славной девушке не за китайца выходить. Подождите, вот скоро приедет из Лондона мой племянник, познакомлю — красавец! А пока я хотела вам предложить начать заниматься со мной английским языком: вам он пригодится, мне же это доставит только удовольствие.

Столовая в доме миссионера была общей комнатой, где обычно встречались и вели беседы обитатели дома. И когда в тот вечер Тяньчин пришел к Ирине, он застал обеих женщин за учебником, и Ирина старательно подворачивала к нёбу язык, чтобы произнести неудававшуюся букву английского алфавита.

При виде этой мирной картины лицо китайца нахмурилось. Он разом прервал урок, очень резко заметив старушке, что она вмешивается не в свое дело. Он вел себя, как лицо, имеющее право на Ирину. Это было оскорбительно, но Ирина сдержалась, чтобы окончательно не поссориться со своим покровителем.

— Я не хочу, чтобы эта старуха имела на вас плохое влияние, — пояснил Тяньчин, когда они остались вдвоем.

— Наоборот, она очень ко мне хорошо относится. Мы ведь соседки по комнатам, и мне с ней очень приятно поговорить, — простодушно призналась Ирина.

Тяньчин изменился в лице.

— Я очень надеюсь, что вы не спрашивали у нее каких-либо советов в ваших личных делах. Как говорится, не надо выводить наружу дела, которые свершаются внутри дома.

Ирина промолчала.

— Я прошу извинения, — продолжал Тяньчин, — что заставил вас плакать сегодня. Вы на меня не сердитесь?

— Нет, — через силу выдавила из себя Ирина.

— Я — человек прямой и откровенный, — говорил он, ласково заглядывая в глаза Ирины: — И хочу вам добра. Я надеюсь, что вы хорошо подумаете и согласитесь на мое предложение.

— Нет, Иван Иванович, — решительно ответила Ирина, — я не хочу, чтобы вы заблуждались на этот счет: я никогда не буду вашей женой и пожалуйста не поднимайте больше об этом разговора.

Тяньчин опять, как и днем в конторе, позеленел, лицо его стало злым.

— Я думал, что вы оцените все, что я для вас сделал. Как говорится, забывай обиды, но никогда не забывай благодеяний.

Ирина покраснела.

— Я вам очень за все благодарна, Иван Иванович.

— Я думаю, что старуха, с которой вы подружились, на вас все же имеет плохое влияние. Зачем она учит вас английскому?

— Мне это может пригодиться. Не всю же жизнь мне оставаться здесь.

Тяньчин вскочил со стула.

— Нет, нет! Я не хочу! — вскричал он, нервно ходя по комнате. Но взяв себя в руки, он через минуту уже опять стоял перед Ириной и, стараясь быть джентльменом первой руки, заискивающе заглядывал ей в глаза.

— О, Ирина! Если бы вы знали мои чувства к вам. Верьте мне, я хочу только добра вам. Я не хочу, чтобы ваши прекрасные глаза плакали, а на ваших нежных руках были мозоли. Я хочу дать вам хорошую, полную достатка, жизнь, чтобы ваши чудные золотые волосы долго не седели, и румянец ярким цветом всегда украшал бы ваши нежные, как утренняя заря, щеки. О, Ирина! Вы — светлый ангел, пришедший прямо из рая! Я буду беречь вас! Вы всегда будете сидеть дома. Женщине не подобает работать, она должна

жить с мужем. Я буду вас любить до тех пор, пока не обращусь в прах.

Он взял ее руку и галантно преподнес к своим губам. Неискушенная в жизни, она на момент была захвачена высокопарной речью Тяньчина, который, заметив в ее глазах мягкость, стал развязнее.

— А старуху вы гоните от себя. От нее вам только зло будет. Пусть она лучше подумает о своей скорой смерти, чем вмешиваться в счастье других.

При этих словах лицо его исказилось злобой, и Ирина удивилась, как быстро менялось оно: вот только минуту назад оно было овеяно поэтическим экстазом, а сейчас, преисполненный ревности, Тяньчин делался похожим на сатира. Загадочной и непонятной была душа этого китайца, слегка вкусившего цивилизацию, но ведущего корни своих эмоций из далеких глубин Азии. Ирина невольно отодвинулась от него.

— Уходите! — коротко сказала она.

На другой день Тяньчин был придирчив и требователен в конторе.

— Хозяин не доволен вашей работой, — заметил он Ирине.

— Но ведь он даже и не знает, что я делаю, — вырвалось у нее.

Тяньчин деланно засмеялся, некрасиво обнажая десны и выставляя крепкие, желтые зубы.

— Он меня спрашивал, — зло отпарировал он.

А через два дня он заявил Ирине, что хозяин не рассчитывает, что она скоро изучит машинопись и нашел себе машинистку, а потому в услугах Ирины больше не нуждается.

— Вы же сами мне всегда мешали учиться печатать, — возразила Ирина.

— Очень сожалею, — официально ответил Тяньчин, — таково решение хозяина. Впрочем, — добавил он, — если бы вы захотели, я мог бы помочь и уговорить его вас оставить.

Тяньчин выжидательно посмотрел на Ирину.

— Нет, спасибо, — гордо ответила она.

В тот вечер она горько плакала на плече старухи, в столовой миссионера.

— Ничего, ничего! — успокаивала ее старуха: — Я устрою вас билетершей в городской сад. У меня там есть знакомая девочка, поет она на открытой сцене. Вот только придется вам, милая моя, принять несколько более современный облик: волосики по модному остричь, ноготки наманикюрить, губки подмазать . . . Конечно, вы прелестны своей натуральной красотой, но требование века — вы понимаете? Принесите-ка, милая, ножницы, я мигом преображу вас!

Через несколько дней Ирина, устроившись на новую должность в городской сад, стала совсем иной женщиной. Она часто теперь брала в руки зеркало и смотрела на свое новое лицо, припудренное, подмазанное. Вместо прежней гладкой прически из длинных волос, ее голова была теперь в тугих кудряшках. Ей нравилось работать по вечерам до полуночи. В этом было что то новое, острое, и ее волновала эта новизна, сладостная потому, что была недоступна до сего времени. Музыка, веселые куплеты с открытой сцены, нарядно одетая толпа, которая вся, человек за человеком, проходила мимо нее, билетерши. Молодые люди оглядывали ее и беззастенчиво любовались ею. Жизнь до сего времени была полна лишений, утрат, забот. Сколько слез было пролито! И не довольно ли их? Теперь, Ирина как бы переносилась в новый мир. Жизнь сулила что-то. неизведанно-радостное.

А старуха, соседка по комнате, говорила, что теперь нужно вот только еще немножко пополнеть и купить красивенькое платьице, — тогда все будет хорошо. Она опять упомянула своего красавца-племянника, который вот-вот должен

приехать из Лондона. Старуха торопила Ирину с изучением английского языка, чтобы к его приезду уже уметь прилично объясняться.

Ирина машинально подчинялась наставлениям старухи и машинально же готовила себя к встрече с ее племянником. Мысль, что ее уволили из кукурузного предприятия уже больше не беспокоила, наоборот, она была довольна, что теперь Тяньчин не вертелся пред глазами в течение целого дня. Та же старуха опять таки говорила, что вполне вероятно, что кукурузой эта фирма только прикрывается, а что на самом деле они наверное торгуют опиумом. В Китае, будто, все так делают и, возможно, даже, что и сам миссионер не брезговал спекуляцией. Может быть и так. Ирина ничего этого не подозревала, для нее все это было совершенно ново и непонятно, как и все в Китае вообще.

Она сидела сейчас у открытого окна, переживая свежие впечатления своей новой должности. С улицы вдруг ворвались пронзительные звуки китайской музыки, бой барабанов и гонга. Ирина высунулась из окна, через которое виднелась часть улицы. Там двигалась китайская свадебная процессия. На красных носилках под балдахином носильщики несли невесту, спрятанную за занавеской и бахромой от балдахина. Впереди и сзади шла ряженая во все красное наемная толпа и музыканты, невыносимо пиликавшие на своих скрипках.

Ирина с интересом следила за процессией. Ее девическое воображение разыгралось, и ей отчетливо представилось, что это ее самое несут сейчас в паланкине для того, чтобы потом из рук в руки передать широко улыбающемуся жениху с расплющенным носом и жесткими как мочала волосами. Ее даже передернуло от возможности в избытке нежных чувств ласково провести рукой по этим волосам. Пред глазами встал Тяньчин с его назойливой любовью; и от того, что знакомство с китайцем оборвано, и она больше не зависела ни от его благодеяний, ни от его козней, Ирине стало радостно. Обхватив руками глицинии, росшие прямо под окном, она зарылась в них лицом, шаловливо ловя губами цветы.

Свадебная процессия уже была далеко, визгливая музыка и барабанный бой едва доносились до слуха.

Вдруг в толпе уличных зевак, обычно сопровождающих всякую процессию, Ирина увидела Тяньчина. Его высокая фигура в европейском костюме сразу выделялась. Он шел прямо к окну.

Увидев Ирину, он не сказал своего обычного приветствия. Лицо его перекосилось болезненной гримасой и, двигаясь как сомнамбула, он лишь не отрываясь смотрел на нее.

— Что вы сделали? Что вы сделали? — наконец глухо вырвалось у него: — Где ваши длинные волосы? Переливы золота... Знойные солнечные лучи на плечах ваших... Обрезали...

Он остановился как вкопанный. Его губы продолжали шептать что-то, Ирина не могла расслышать слов. Он долго так стоял, не отрывая от нового лица Ирины своих полных страдания глаз, а потом закрыл глаза рукой и бессильно оперся на подоконник.

— Что такое? Почему? — недоумевала Ирина: — Разве уж мне так не идут стриженые волосы?

— Не та! Не та... — мотал головой Тяньчин, а потом оторвав от лица руку, опять со страданием рассматривал Ирину: — Зачем вы это сделали? Сейчас вы, как все другие. Когда я вас увидел в первый раз, там на вокзале, вы... О, вас нельзя было забыть! Ирина! — другим тоном сказал он, и угроза послышалась в его голосе: — Кто этому вас научил? Вы хотите нравиться мужчинам? Вы хотите, чтобы их было много вокруг вас. Много! И чтобы все они вас целовали!

Он разгорячился. При последней фразе он даже забрызгал слюной, а глаза его налились кровью. Он стал страшен. Ирина невольно отошла от окна. Но Тяньчин придвинулся, совсем всунулся в комнату.

— Зачем вы работаете в городском саду? Это не хорошее место. Хорошие девушки там не работают...

— Моя соседка-старушка помогла мне устроиться, — наивно пролепетала Ирина, — и я ей очень благодарна. Она...

— О, опять она! — стукнул Тяньчин кулаком по подоконнику: — Я ее убью! Женщина с длинным языком — лестница к несчастью.

— Не кричите здесь, — овладела собой Ирина: — Я не позволяю!

— Только кошки, журавли и воры не шумят... Зачем, зачем? — опять несколько раз повторил он, ероша свои, поевропейски остриженные, волосы. — Источник мутен, и река мутна...

— Как зачем? — уже окончательно освободившись от испуга, сказала Ирина: — Нужно же мне как-то жить!

— Вы познакомитесь с мужчинами, — не слушая, как бы про себя, говорил Тяньчин, — они будут носить вам красивые платья, шляпки...

— Не говорите глупостей! Я тоже не маленькая, знаю, что делаю. Половину России и Сибири чуть ли не пешком прошла, не свихнулась.

— Но вы раньше не красили губ, а ваши волосы были длинные, длинные. У вас не было денег, но вы были богаты. Сейчас вы обеднели... Мне вас очень, очень жаль...

— Прошу обо мне не беспокоиться.

— Я вас люблю, Ирина, потому и жалею.

— Я уже просила вас, Иван Иванович, не говорить мне о своей любви. Вам, право, больше подойдет китаянка, чем белая женщина. Что вы мне, в конце концов, покою не даете? — совсем вышла из себя Ирина.

Тяньчин провел ладонью по лицу, как бы умываясь.

— Кто поел арбуза, не захочет есть глины... Я не знаю, кто я. Я — не русский, я — не китаец...

Его раскосые, черные как угли глаза неопределенно вперились в стену Ирининой комнаты. Рот его некрасиво ощерился, как будто он только что попробовал чего-то очень горького. Тихо, как бы про себя, он сказал:

— Я не помню отца и матери... Я вырос в русской семье, как русский мальчик. Я мог бы сеять рис, молиться деревянному идолу и быть счастливым... А теперь? Теперь я сме-

юсь, когда вижу китайского дракона в лентах. Я потерял веру своих отцов! Куда я пойду?

Он тяжело вздохнул. Ирине стало его жалко.

— Это давно известно, — сказала она, — что цивилизация портит людей. В особенности, если остановиться на полпути.

Опершись обеими руками на подоконник, Тяньчин вдруг ловко прыгнул и очутился в комнате.

— Ирина, я не хочу останавливаться на полпути.

Он запустил руку за ворот и вытащил маленький серебряный крестик на шнурке. Поцеловав его, он сказал:

— Ирина, смотрите: я верую в Единого Бога. Наши дети будут русскими.

Ирина вспыхнула.

— Ах, Иван Иванович! Да не люблю я вас! Что вы от меня хотите, наконец?

Она рассчитывала, что после этого Тяньчин тотчас же оставит ее, но он пододвинул табуретку к лакированному китайскому столику и развязно уселся. Ирина с ужасом видела, что от него не так-то легко отделаться и взяла в руки какую-то работу.

— Я думаю, любовь китайца несколько отлична от любви человека с белой кожей и светлыми глазами? А? — сквозь зубы процедил он.

Ирина не поняла, философствует ли он, или иронизирует и ничего не ответила, лишь быстро вскинула на него глазами: лицо китайца было зло, глаза были полны такой ненависти, что Ирина невольно содрогнулась. Тяньчин заметил это и сейчас же растянул свое лицо в улыбку, которая, однако, как обычно, ничуть не скрасила его, а наоборот, придала еще более свирепое выражение, обнажив длинные, желтые зубы. Он сделался похожим на оскаленного зверя, готового прыгнуть на свою жертву. Было неприятно смотреть на него. Ирина встала и отошла к окну.

Горячий тяжелый воздух был неподвижен. Глицинии вяло повисли над окном. Единственное дерево у самого забора было тоже неподвижно, как будто приклеено или приткнуто к

стенке, как декорация. Оно было таким же искусственным, как и все здесь в Китае: как бумажные цветы, которыми китаянки украшают свои волосы, и как их чрезмерно набеленные и нарумяненные кукольные лица, и как низкие приседания, и слащавые слова приветствия. Но души? Китайские сердца повиновались тем же размеренным законам физиологии, как и сердца белых. А их чувства? Что такое была любовь Тяньчина? Она обернулась. Тяньчин тяжело смотрел на нее и нервно бил носком сапога об лакированный хрупкий столик.

— Мне нужно идти, Иван Иванович! Уходите, прошу вас!

Тяньчин резко встал и, не прощаясь, ушел.

Но Ирина чувствовала, что это — не конец. Что Тяньчин опять придет и опять будет надоедать, предлагая ей себя в мужья. Эта мысль угнетала ее.

«Хоть бы уехать отсюда! — с тоской подумала она: — Ах, если б только мне деньги!»

Она советовалась со своей соседкой, всезнающей старушкой, очень успокоительно на нее действующей. Но тут даже она не успокаивала. Ирина стала нервной. Она вздрагивала при каждом шелесте под открытым окном. Ей казалось, что Тяньчин прячется в кустах дикого винограда и подсматривает за ней. Вот-вот раздвинутся кусты, и пред ней предстанет его шафранное, скуластое лицо, и опять начнутся его любовные признания.

И он пришел.

Одетый в один из своих лучших щегольских летних костюмов, он был ласков и любезен, как в первые дни знакомства.

Он не вошел через столовую, боясь, вероятно, что Ирина может не открыть двери. Он сначала заглянул к ней в окно.

— Здравствуйте, Ирина! — приветствовал он ее, — хороший день сегодня, не правда ли? Не слишком жарко. Может быть, вы хотите пойти посмотреть туманные картины? А?

— Нет, спасибо, — сухо ответила Ирина, — мне скоро надо идти на службу.

Тяньчин неопределенно крякнул, повертел шеей, как будто ему давил ворот рубахи, а потом исподмышки вытащил пару красивых парчевых туфелек и аккуратно поставил их на подоконник.

Ирина сделала большие глаза.

— Это вам, Ирина, — застенчиво улыбаясь, сказал он: — Подарок. Просто так... Мне от вас ничего не надо... Я просто хочу сделать вам что-нибудь приятное.

Он цокнул языком от удовольствия, любуясь красивыми туфельками.

Ирина вдруг сразу вспыхнула.

«Боже, никогда не отвязаться мне от него! С ним надо быть резче, грубее: может быть, тогда он уйдет».

И она грубо ответила:

— Не надо мне ваших туфель, уходите!

Тяньчин молча проглотил грубость. Опять нервно подергал шеей и сказал:

— Я видел вас вчера в городском саду. Вы были такая веселая... Счастливая...

Он замолчал. Молчала и Ирина. Она взяла в руки какое-то шитье, чтобы показать, что занята.

— Ирина... — тихо позвал он ее: — Я люблю вас...

Она молчала. Тяньчин тяжело вздохнул.

— Вы, может быть, уже полюбили кого-нибудь? Одного из тех мужчин, которые ходят в городской сад, как на рыбную ловлю: поудить рыбку...

Ирина не отвечала.

— О-хо-хо... — простонал он: — Вы как светлая радуга осветили мою жизнь, — продолжал он через минуту молчания: — Любовь как солнце освещает жизнь человека, даже

самого ничтожного. За что вы меня презираете? За то, что у меня желтая кожа? Но кровь у меня такая же красная, как и у вас, Ирина. И вы знаете, что все люди на одинаковом расстоянии от смерти? Мы с вами в этом равны. . .

Ирина продолжала молчать.

— Туфельки хороши, — сказал он через некоторое время и, понизив голос, добавил: — Ирина, я вам в следующий раз платье принесу. Красивое!

Он опять цокнул языком, как будто мысленно уже видел это платье.

— Ну, что вам от меня нужно, Господи! — не выдержала Ирина. — Не надо мне ваших подарков, убирайтесь вы со своими туфлями!

Подойдя к окну, она взмахом руки далеко отбросила парчевые туфельки, под то самое деревцо, которое, как приклеенное, неподвижно стояло у забора.

Тяньчин изменился в лице. Подобрав туфельки, он стал смахивать приставшую к ним пыль. Ирина тем временем захлопнула окно и даже задернула бамбуковую занавеску.

Тяньчин стоял среди глициний и, думая что-то, машинально отряхивал рукой пыль с туфелек. Он долго так стоял, как бы не в силах сдвинуться с места. Опять повертел шеей: ворот определенно давил, ему было душно, нестерпимо душно...

По улице прокатил рикша с нарядно одетой дамой под белым зонтиком. Тяньчин проводил ее глазами. Он не знал, куда идти, что с собой делать. И все стоял у приклеенного деревца и водил рукой по парчевым туфелькам, а сам думал, думал. . . О чем он думал? Может быть, измышлял пути, как выколупать из своего сердца засевшую в нем любовь к белой девушке с глазами цвета неба? Он взглянул на завешанное окно Ирины. Оно было холодно, неприветливо.

«Да, она уже полюбила другого, — вдруг решил он, злобно сверкнув глазами: — И мне ее никогда не иметь». . .

Он провел рукой по лицу: ему было очень жарко. Потом снял шляпу и обтер платком потный лоб. Душно.

Но вдруг он резко повернулся и, сжимая кулаки, быстро пошел прочь. Его лицо теперь опять стало страшным; крепко стиснутые зубы скрипели. Он был полон решимости.

Было позднее утро. Солнце уже начало припекать, а сухая земля, потревоженная тяжело-колесными китайскими арбами, пылью поднималась вверх и долго стояла в неподвижном, горячем воздухе, придавая всему желтый, тусклый вид.

Тяньчин шел без шляпы, со всклоченными волосами и расстегнутым воротом, вокруг которого болтался полуразвязанный галстук. Всегда аккуратно приглаженный и чистенький, сейчас он совсем не походил на себя. Как будто он только что встал с постели, или не спал вовсе. Лицо его было примято, с серым оттенком, а во всей фигуре чувствовалась усталость, какая-то надорванность. Лишь глаза его были попрежнему блестящи и напряжены.

Он шел быстро, деловито, ничего вокруг себя не замечая, как будто мысли его были далеко, а сам он, не отдавая отчета, был несом какой-то неведомой силой.

Он шел прямо к дому миссионера.

Обойдя дом со двора, он заглянул в открытое окно Ирины: непричесанная и неодетая, она сидела в одном халате у столика и пила утренний чай, — очевидно она недавно встала с постели. Она не успела заметить Тяньчина, как он по-воровски отшмыгнул от окна и теперь уже заглядывал в соседнее. Пошарив глазами, он увидел, что старухи в комнате не было. Тогда он обошел дом с другой стороны и вошел в столовую. Она была пуста, вокруг все было тихо, лишь слышно было неспокойное жужжанье мух. Но вдруг в темном углу за китайским столиком что-то зашевелилось, и Тяньчин увидел расползшуюся фигуру старухи. Она тоже была в халате. Увидев Тяньчина, она опустила на колени английскую газе-

ту, которую читала, и безразлично посмотрела на китайца. Тяньчин вздрогнул всем телом, как охотничья собака, учуявшая добычу и молча двинулся прямо на нее.

— Что вам надо? — успела она спросить, и в тот же миг Тяньчин дикой кошкой упал на нее, вонзая нож прямо в горло. Старуха мягко охнула, как бы вздохнула и бессильно повисла в кресле. Руки ее продолжали крепко держать газету, раскрытую на биржевых новостях.

Тяньчин старательно обтер нож об свой галстук и повернулся к двери Ирины. Она была заперта изнутри. Тогда он опять вышел во двор. Круглолицый и краснощекий голландец, живший у миссионера, прогуливал маленькую собачку. Он оглянулся на Тяньчина и, заметив его растрепанный вид, высоко поднял брови и деловито позвал собачку домой.

Тяньчин теперь опять был у окна Ирины. Девушка уже выпила чай и убирала посуду.

— Ирина, вы дома? — зачем-то спросил Тяньчин и ловко перепрыгнул через окно.

Удивленная его растерзанным видом, Ирина остановилась посередине комнаты, придерживая раскрывавшийся спереди халат.

Как-то весь сжавшись, став вдвое меньше, Тяньчин прыжком бросился на нее и вонзил ей нож в грудь. Взмахнув обеими руками, как бы собираясь лететь, Ирина дико вскрикнула и бросилась к двери. Но Тяньчин не дал ее открыть: преградив дорогу, он ножом один за другим нанес Ирине два удара в спину. Ирина обернулась, чтобы спастись через окно, но Тяньчин настиг ее и тут и снова нанес несколько ударов в грудь и плечи. Дико крича, девушка старалась выхватить нож из рук своего убийцы, но он, изрезав ей все руки, всаживал нож то в грудь, то в живот. Нутряной, животный крик огласил дом миссионера; крик этот, хриплый, булькающий, ужасом шевелил на голове волосы. Слышно было, как обитатели дома забегали по комнатам, пытались открыть запертую Иринину комнату. А Ирина в это время была уже сплошным кровавым куском мяса, но одержимая сверхъестествен-

ной силой, она все не сдавалась и боролась за свою жизнь. Распростав окровавленные руки, она теперь лишь бессмысленно бегала по комнате, ища спасения от ножа в руках озверевшего китайца. Ее короткие, с утра еще незавитые, волосы космами болтались по искаженному лицу, а когда-то красивые голубые глаза, теперь наполненные ужасом смерти, выпучились и были страшны.

Тяньчин, с перекошенным ртом и совершенно шалыми глазами, был весь в крови. С его рук уже не капала, а текла кровь его жертвы. Нож в его мокрых руках то и дело скользил, но все же он шаг за шагом продолжал преследовать смертельно израненную девушку, пока та, поскользнувшись в луже своей собственной крови, наконец не упала. Подняться она уже не могла: разбросав в стороны руки, она осталась лежать ничком на полу.

Тяжело дыша, с прилипшими к мокрому лбу волосами, Тяньчин безумными глазами обвел комнату. А потом, вытерев нож и липкие руки о пиджак, он отпер дверь Ирининой комнаты. Он был весь в крови и, проходя через столовую, оставлял за собой кровяные следы.

В столовой, у трупа старухи-лингвистки, уже собрались люди.

— Вот он! — крикнул кто-то, но заметив в руке китайца нож, никто не посмел двинуться к убийце.

Тяньчин быстро прошел во двор, все еще крепко сжимая в кулаке покривившийся нож.

— Девушка тоже мертвая! — услышал он за собой. — Он зарезал обеих!

Тяньчину показалось, что голос, сказавший это, шел откуда-то из подземелья — таким был глухим и далеким. В ушах у него звенело, пред глазами ходили круги.

— Мертва... — повторили его губы.

С глазами, устремленными вдаль и перекошенным гримасой лицом, он остановился на середине двора, ничего перед собой не видя: в глазах у него совсем стало мутно. Он тряхнул головой, чтобы освободиться от помутнения. И тогда в во-

ротах он увидел идущего к нему полицейского и толпу людей. Тяньчин быстро расстегнул пояс и двумя резкими движениями, театрально, как герой мелодрамы в заключительном акте, распорол себе живот. С искривленным от боли лицом, он упал на землю, заливая ее кровью.

— Ирина. . . — прошептал он запекшимися губами: — У меня кровь такая же красная. . . Все пути ведут в Чанг-Чан. . .

И когда полицейский подошел к нему, его характерные раскосые глаза уже начали тускнеть, хотя все еще смотрели в безоблачное, невинное, без единого пятнышка, небо, — такое чистое, какое бывает в Китае знойным, горячим летом.

ДОКУМЕНТАЛЬНАЯ ПРАВДА — НЕ ЕСТЬ ЛИТЕРАТУРА. ЭТО ОТКОС, ПО КОТОРОМУ В БЕЗДНУ КАТИТСЯ ИСКУССТВО.

Е. П.

Изобретатель

Это случилось летом, в один из тех солнечных дней, какими богата Калифорния. Муся встретила его во время прогулки по берегу моря. Пикник молодежи был многолюдный, но Петр и среди этого многолюдия выделялся, как будто был на голову выше других. На самом же деле он был не очень высок, скорее, среднего роста. Смуглый, худощавый шатен, с четкими чертами лица, он был, пожалуй, красив. Особенно привлекали его глаза. Какая-то неопределенность была в них. Они все время меняли цвет и из светло-серых неожиданно делались глубинно-темными, почти черными, в зависимости от настроения, менявшегося каждую минуту.

В то время как остальная молодежь шумела, пела, ела и флиртовала, Петр ушел на пригорок и рассеянно смотрел на набегавшие волны, а губы его в это время кривились усмешкой; и было непонятно, вызывала ли ее расположившаяся внизу веселая компания, или же он просто подсмеивался над самим собой.

Муся уже два раза прибегала к нему, звала разделить общий пикник; своим высоким голосом зазывала присоединиться к русским песням, особенно красиво звучащим среди американской природы и отдающимся далеким эхом в лесу.

Остро следя своими странными глазами за маленькой, тоненькой блондинкой, какой была Муся, Петр, не переставая кривить губы презрительной усмешкой, бросил едкое заме-

чание и о русской песне и о калифорнийской природе. И в конце концов, нельзя было понять, для чего такому бирюку понадобилось присоединиться к веселой компании и ехать на пикник.

Нехотя, как бы из милости, он признался, что недавно закончил курс в университете по химическому отделению. Где служит? (опять кривая усмешка). Нет, он никому и ни перед кем не собирается служить. Недомолвками, как бы боясь осквернить непрошенными вопросами свое святая святых, он намекнул, что все свое время посвящает какому-то изобретению. Что это было за изобретение — так и осталось для Муси непонятным. Оно было облечено в такую же тайну, как и сам изобретатель.

Тем не менее, этот надменный, тонкий шатен нравился Мусе, и она опять отставала от компании, чтобы кинуть ему фразу, а в ответ опять услышать или едкое замечание, или даже колкость. Отшучиваясь и хохоча, она опять убегала, и некоторое время ее звонкий голосок весело переливался внизу под скалой, над которой стоял Петр.

— Вот здесь мы разложим костер... Отсель грозить мы будем шведу!..

Но участвуя в общем веселье, она не переставала думать о том независимо державшемся молодом человеке, что уединился на пригорке. А может быть, он и вправе так держаться? Как знать! Может быть, он и на самом деле не такой, как другие. Да кто же он такой, наконец? Любопытство одерживало верх, и Муся опять карабкалась на скалу.

— Вот вам сандвич, — кричала она Петру.

Он наспех прятал в карман какие-то исписанные листки и криво усмехался в сторону протянутой Мусиной руки.

— Дань животу...

Беря сандвич, он как-то особенно остро кольнул Мусю своими вмиг потемневшими глазами.

— Что это вы забрались на скалу и торчите здесь, как пальма в пустыне? — искренне удивлялась она: — Взгляните, ведь там внизу совсем неплохо. Вон какая свежая полян-

ка впереди, вся в невинной, нетронутой человеком свежести. А там — лесок... Вдумчивый, серьезный... Побежим туда! Давайте!

С этими словами Муся ринулась вперед. Почему она была уверена, что Петр побежит за ней? То было сделано чисто по-женски, подсознательно.

И Петр действительно побежал. Только он очень быстро нагнал маленькую, тоненькую девушку и, обхватив ее за талию, легко перебросил через плечо и понесся со своей ношей в глубь леса.

Муся стала визжать.

— Тише, тише, маленькая! — говорил он. — Вся компания сейчас слишком далеко и все равно вашего визга не услышит.

Его лицо залилось радостным озорством, глаза сделались совсем солнечными, лучистыми.

— Я вас боюсь, боюсь, — кричала Муся, дрыгая ногами.

— А заигрывать со мной в течение целого дня не боялись? Пожалуйста, детка, перестаньте визжать, а то я начну вас целовать: надо же как-нибудь закрыть ваш рот!

— Нет, нет! Не смейте! Пустите меня!

— Ответьте, зачем задирали меня весь день?

— Я думала, что вы и внимания на меня не обратили, а вы оказывается...

— А хотелось, чтоб обратил? Значит, я вам нравлюсь. Не так ли? Значит я и целовать вас могу!

Сильными руками он сжал ее в своих объятьях.

— Уйдите! Не смейте! Я боюсь вас! — безотчетно повторяла Муся.

— Почему же вы меня боитесь? Я не хочу вам зла, — говорил он, покрывая ее лицо поцелуями.

— Пустите! — меж поцелуями успевала выкрикнуть Муся.

— Нет, я вас не пущу до тех пор, пока не нацелуюсь вами. Я же сказал, что зла вам не сделаю, иначе завтра же меня не будет в живых, — серьезно сказал он, еще крепче впиваясь в Мусины губы.

— Вы — странный, я это сразу заметила.

— А вы — маленькая, славная птичка, которая попалась в сети и бьется крылышками об мою грудь. Вы целый день мучили меня своими приставаниями, — глухо прошептал он. В последний раз опалил он ее знойным поцелуем и сказал:

— Бегите, куколка! Я еще хочу жить!

Но Муся уже не боялась его. Сейчас она, пожалуй, даже и сама могла бы обхватить руками его сильную шею, но он, отстраняя ее, повторил:

— Бегите — я вам сказал!

Муся повиновалась и медленно пошла к оставленной компании.

Но всю ту ночь, что наступила вслед за знойным днем, она не спала. Брезентовый навес палатки казался раскаленным листом жести. Муся задыхалась от жары во всем теле. Возбужденное лицо Петра, его неровные, переменчивые глаза все время стояли перед ней и жгли то насмешливым, то страстным взглядом.

«Что я говорю, так тому и быть!» — билась в ее голове часто повторяемая им фраза. «Что же будет?» — задавала себе вопрос Муся, но не находила ответа и вся в огне воспоминаний дня лишь истомно ворочалась на постели, прислушиваясь то к далекому гуканью совы, то к свисту какой-то ночной птицы. Каким-то колдовским зельем опоил ее этот странный, смелый мужчина, которого она видела вчера в первый раз в своей жизни.

«Может быть, я никогда его больше не увижу», — продолжала думать она в эту бессонную ночь. И вдруг ей стало казаться, что она упускает из жизни что-то очень ценное, что больше уже не вернется. Вконец измученная, ослабленная бессонницей, она решила наутро объясниться с Петром. Просто подойдет к нему и признается, что не может без него жить.

На этом решении маленькая, хрупкая блондиночка, с кукольно-детским личиком наконец заснула.

Пикник продолжался и на другой день. Молодежь, разбившись на группы, ходила удить рыбу, собирать ракушки; кто-то купался в тяжело бившихся о скалы волнах; кто-то заливчато хохотал над неудачей товарища прыгать через препятствия, — Муся ничего не замечала: она была поглощена спокойными движениями тонкой фигуры Петра, его чуть пренебрежительной улыбкой и снисходительным, поверх чужих голов, взглядом. Глаза его сегодня были светлые-светлые, как будто вобрали в себя всю ясность солнечного доброго дня.

— Я люблю вас, — просто сказала она, когда Петр незаметно от всех опять шел на вчерашнюю скалу уединения.

— С этой скалы очень удобно делать наблюдения, — сказал он. — Вы знаете, я даже думаю попробовать произвести испытание именно здесь.

— Испытание чего? — недоуменно спросила Муся.

— Моего аппарата, — ответил он, не глядя на нее. — Разве я вам не говорил, что работаю над одной штукой? Если она удастся, я...

— Я люблю вас, — нетерпеливо повторила Муся.

— Ах, маленькая, какая вы смешная!

Петр залился хохотом. Хохотал он долго, до слез.

— Я ей о своем изобретении говорю, а она... Ха-ха! Вот чудачка, право!

— Может быть я и чудачка, — с обидой в голосе сказала Муся, — но что же мне делать? Научите!

Она потянулась к нему, но он мягко отстранил ее.

— Я не могу принять вашего чувства. Вчера я был другой, я был сумасшедшим. Сегодня я здоров.

— Зато я сегодня больна. Я всю ночь страдала и знаю, буду страдать и дальше, если не стану вашей.

Муся положила ему на плечи свои руки, хотела губами прижаться к его тонкому, насмешливому рту, но он с больной гримасой жестко снял ее руки и сказал:

— Маленькая! Вы сами не знаете, что говорите. Я не хочу быть для вас Инсаровым. У вас вся жизнь впереди, с обы-

вательской точки зрения — счастливая. Не связывайте ее с моей.

— Не надо мне ничего! Я хочу быть счастливой только сегодня, — страстно шептала она.

— Вы меня волнуете своей непосредственностью, куколка, — сказал Петр, продолжая смеяться. Но вдруг он услышал тихие всхлипывания на своей груди.

— Ну, если вы, куколка, вздумали плакать, то . . .

И опять, как вчера, он покрыл ее лицо поцелуями.

Потом, уже много времени спустя, Муся не раз задавала себе вопрос, благословлять или проклинать ей тот пикник на живописном берегу моря, где она впервые встретила Петра, с притягательной силой которого не смогла бороться. Временами ей казалось совершенно невероятным после трех дней знакомства связать судьбу с этим, неизвестно откуда появившимся, молодым человеком. Временами же она, наоборот, считала себя счастливейшей женщиной, так неожиданно встретившей привлекательного, одаренного человека, посвятившего свою жизнь великим исканиям.

Целыми днями Петр просиживал в рабочей комнате над своим изобретением, остававшимся для Муси до сих пор неразгаданным. Но, собственно говоря, неразгаданным оставался и сам Петр. Среди всевозможных инструментов, технических приборов и колб он совсем забывал обо всем, даже о Мусе. А когда она заходила к нему, то углубившись в работу, он часто просто не замечал ее, как не замечал и вообще всего, что творилось вокруг. Он проявлял страшную рассеянность и иногда даже забывал об еде. Муся долго не могла к этому привыкнуть и сердилась. Но ее раздражения Петр также не замечал, и она научилась приносить ему еду и ставить ее прямо посреди удушливых колб. С отсутствующими глазами Петр опустошал тарелку, бормоча себе под нос какие-то формулы, технические термины. В эти моменты он производил впечатление психически тронутого человека. И только освободившись из-под власти рычагов, валов, цифровых комбинаций, он делался нежен и ласков с Мусей. Но такого

его хватало не надолго: скоро он опять уходил в свою рабочую комнату, и тогда для Петра опять ничего, кроме формул и математических расчетов, не существовало.

Муся понимала, что он не может ее любить так, как ей того хотелось бы. Но скоро она также поняла и то, что судьба сознательно предназначила ей этого человека, чтобы она могла посвятить ему свою жизнь.

Но что же это было, чему Петр отдавал всего себя? Что так захватило его?

В начале своей совместной с ним жизни Муся стояла в стороне и от колб и от разных приборов; равнодушно проходила мимо всех инструментов, названия которых часто даже и не знала. Особого рода ревность к комнате, в которой Петр проводил большую часть своей жизни, поднимала в душе Муси неприязненное чувство, и она сторонилась этой неуютной, полупустой комнаты. Но постепенно она поняла, что не может победить пристрастия мужа; что реторты, валики и рычаги для него важнее всего на свете. И тогда она решила слиться с этими инструментами.

Часами стала она молча просиживать в его комнате. Сначала ничего не понимала и совсем не разбиралась в наставленных на столах приборах. Но постепенно стала осваиваться: поднесет спичку к горелке, чтобы нагреть какой-то невидимый глазу газ; подаст напильник, чтобы подточить необычайно тонкие и легкие листы из какого-то почти невесомого металла.

Петр сначала не замечал ее присутствия, просто не видел ее, весь поглощенный работой. Но потом вдруг обратил внимание на добавочные руки, или помогавшие держать трубочку, или вовремя убиравшие осколки взорвавшейся колбочки.

— Мусенька-деточка! И вы здесь, со мной! — ласково удивился он: — Вот хорошо! Значит полетим вместе.

— Куда полетим? — изумилась Муся.

— В пространство, куколка, — спокойно ответил Петр: — Из реального мира в так называемый «нереальный», находящийся в четвертом измерении.

От изумления Муся даже раскрыла рот.

— Ведь то, над чем я работаю, будет летательный аппарат. Вы не знали?

— Нет, — едва нашла в себе силы прошептать Муся.

Всю ту ночь после раскрытия тайны изобретения Петра Муся не спала.

«Он — ненормальный, — с ужасом констатировала она: — лететь в четвертое измерение» . . .

А в другой раз Петр, уже освоившийся с присутствием Муси в своей комнате, с увлечением поделился и деталями изобретения.

— Вы, куколка, не представляете себе всей важности моего изобретения. Поймите, оно перевернет весь мир. Люди не только смогут перебрасывать предметы на расстояние, но смогут и сами невидимо и легко перемещаться, куда пожелают. Вы скажете: это нереально. Но ведь очень трудно установить границу реального и нереального. Я знаю, что с меня прежде всего потребуют практичности моего изобретения. Она есть, эта практичность. Есть, куколка! Возьмите — война . . . Посредством моего аппарата можно будет вмиг перебросить всю армию в четвертое измерение и тем сделать ее невидимой для неприятеля. Причем, артиллерия и авиация будут продолжать попрежнему работать, бить по неприятелю, который вот так же, как и вы сейчас, деточка, будет стоять с разинутым ртом и не понимать, кто и откуда стреляет, так как они никого не будут видеть. Вы понимаете, какая штука!

Петр залился радостным смехом — так отчетливо предстала пред ним картина духовного разложения всего неприятельского фронта, погибающего от изумления.

— Они погибнут от своего же собственного невежества. Погибнут только потому, что их психика не подготовлена воспринять никакого другого движения помимо того, что они привыкли видеть в трех измерениях. Они окажутся в положении дикарей, которые ничего не зная о существовании пушек, падали замертво от одного залпа в воздух. Ха-ха-ха!

Петр прямо захлебывался от душившего его смеха. Его воображению рисовались картины одна заманчивее другой, картины будущего человечества, психика которого перевернется, благодаря его изобретению.

Смех этот потом долго бился в Мусиной голове, когда еще одна бессонная ночь была записана в историю ее странной супружеской жизни.

«Мой муж — сумасшедший . . . Иль, может быть, это я не доросла до него, не понимаю его? — спрашивала она себя: — обратиться ли к врачу, или напречь все силы к тому, чтобы его изобретение увидело свет?»

Она решила посоветоваться с одним своим знакомым доктором.

— Изобретатели — все странный народ, — сказал доктор: — Но если изобретение вашего мужа действительно выходит из рамок человеческого понимания, то не исключена возможность и психического случая. Конечно, опять таки вполне возможно, что ваш муж стоит на голову выше всех нас; может быть он — гений и видит и знает вещи, недоступные нашему пониманию. Чтобы выяснить этот вопрос, я вам советую искусно направить дело так, чтобы ваш муж произвел опыт со своим аппаратом. Пусть этот опыт и не удастся, но вам все же представится случай удостовериться, хотя бы отчасти, в его действительной практичности.

Но Петр даже и слышать не хотел о пробном испытании своего аппарата.

— Не так скоро, маленькая, не так скоро, — снисходительно улыбнулся он на предложение Муси: — Испытание человеческого ума требует времени. Если меня постигнет неудача теперь, мне навсегда придется отказаться от желания перевернуть вверх тормашками человеческое мышление. Если уж делать опыт, так только на сто процентов удачи.

— Но, милый, пробный опыт, понимаешь: пробный. Только для меня! Пусть никто, кроме меня и не видит твоей неудачи, если она действительно тебя постигнет. Маленькое

пробное испытание. Пожалуйста, милый! — умоляла Муся, пуская в ход все свои женские чары.

Петр вдруг отложил свои чертежи, инструменты и ласково обнял ее.

— Вы хотя и очень наивная куколка, но все же прелестное существо, — сказал он: — Жаль, что мы не можем жить только для любви. Я мог бы сделать вас счастливейшей женщиной в мире. Но я — раб идеи. Я — урод. Я часто просто даже забываю о вас, детка, о прелестном, хрупком созданьи. Если б вы были сильнее моей идеи, я, вероятно, забыл бы ее ради вас. Но случилось наоборот . . . Сейчас, когда я в состоянии удрать от своего рабовладельца, я понимаю, как хорошо с вами. Сейчас я вот вижу, что у вас скучные глазки. Вы, вероятно, думаете: он меня не любит. Может быть, по ночам вы даже и плачете. Все это я легко себе представляю. Но вы не правы, — Петр понизил голос до шепота: — Куколка, между нами говоря, я вас очень люблю. Особенно за то, что вы не такая, как все: способны парить выше обычных житейских интересов. Я не ожидал, по правде сказать, что вы сможете разделить со мной мою несуразную жизнь, полюбить меня так искренне. Таких уродов как я, долго не любят. Но вы, маленькая, оказались очень стойкой женщиной. Вы выдержали испытание, и я просто и открыто выражаю миру свое удивление, что кроме меня в нем есть еще один редкий экземпляр, это — вы.

За этим монологом последовал ряд таких горячих поцелуев, каких Муся не помнила со дня их первой встречи, перевернувшей всю ее жизнь. Вновь она пережила счастье, стоившее всех бессонных ночей, бесконечных повседневных забот и волнений.

А время шло. Мусе пришлось пойти на заработки, чтобы как-нибудь прокормить себя и своего странного мужа. Он и так уж стоил порядочных денег: ему бывали нужны всякие инструменты, новые колбы, которые то и дело лопались. У Муси, правда, еще оставались небольшие деньги, но их она отложила для патента на все то же изобретение. Для жизни

нужны были другие ресурсы. Конечно, Петр ни над чем подобным не задумывался. Когда же однажды Муся прямо задала ему вопрос, на что жить, он загадочно усмехнулся:

— Подождите немного, и мы будем миллиардерами.

— Но ведь это не будет завтра. А как же прожить нам это будничное «завтра»?

Но Петр уже не слышал ее. И ничего больше не говоря, Муся просто взяла на свои плечи всю материальную сторону жизни.

Но вот однажды она, пригласив в компанию и своего друга-врача, уговорила Петра пойти к морю, к тому самому месту, где они впервые встретились.

— Вы, малютка, оказывается сентиментальны, — заметил на это Петр, — это для меня новость.

Тем не менее к поездке стал готовиться с удовольствием. У него в это время созрел свой план, определившийся, как ни странно, все же благодаря зароненной Мусей мысли о предварительном испытании аппарата. Мусе он однако ничего не сказал. Но она и сама обо всем догадалась, так как видела, как он что-то старательно подвязывал под пиджак и рассовывал по карманам. Благодаря своей чрезвычайной рассеянности, он иногда даже и не подозревал, что был в комнате не один. Муся с своей стороны тоже промолчала о виденном, с интересом предвкушая результаты.

На берегу моря в этот день было пасмурно. Совсем не так, как год тому назад, в первый день их встречи. Как будто природа не хотела повторяться, желая доказать, что в жизни бывают неповторимые моменты. Песчаный берет был скучен, голые скалы суровы, а лесок вдали казался сердито нахмуренным.

Петр тотчас же выбрал отдаленную скалу и уединился. Муся осталась вдвоем с доктором. Конечно, между ними сейчас же завязался разговор об изобретении Петра, об его психике. Это была единственная тема, их сближавшая. Говорили тихо, оглядываясь, чтоб случайно их не услышал тот, кому не следовало знать об установленной за ним слежке.

Но заговорщики все же не остереглись, и Петр появился, вдруг, откуда-то сбоку. От неожиданности и Муся и доктор даже отпрянули друг от друга, что было совсем уж несуразно, и они еще больше смутились и замолчали. Впрочем, Петр ведь бывал иногда до того рассеян, что не замечал даже и людей вокруг себя, и Муся надеялась, что и на этот раз он просто не обратит внимания на ее с доктором замешательство.

Однако случилось что-то совсем неожиданное. Петр резко переменился в лице. Он как будто в первый раз увидел этого доктора, довольно часто посещавшего их за последнее время. Как будто в первый раз заметил он этого упитанного, одетого в приторно модный спортивный костюм, мужчину, с отъевшимся спокойным лицом.

Лицо Петра потемнело, тонкие губы скривились усмешкой.

— Не правда ли, у моей жены муж — большой чудак? — ядовито обратился он к доктору.

— Я этого не замечал, — неловко промямлил доктор, в голове которого в этот момент формировалась мысль, что Петр реагирует, как психически здоровый человек: — Мы сейчас говорили об искусстве ныряния.

— Страшно интересная тема, — саркастически продолжал Петр: — Здесь, конечно, пологий берег, а вот со скалы, пожалуй, можно сделать испытание и нырнуть. Вы хороший пловец? Не желаете ли подняться наверх? — галантно предложил он, настойчиво подталкивая доктора.

— Я предполагаю, что и оттуда нельзя нырять, — возразил доктор, все же идя за Петром: — Там очень скалисто, и глубина совершенно неизвестна.

— Вы отказываетесь? — опять с сарказмом улыбнулся Петр: — Боитесь зашибиться? Предпочитаете дожить свой век без физического увечья? Ну, а вот я не боюсь этого.

Петр смело подошел к самому краю скалы. Муся испуганно схватила его за рукав:

— Пожалуйста, не глупи! Ты разобьешься о подводные камни! Утонешь!

— Да, теперь я определенно вижу, что вы потеряли в меня веру. Вы, маленькая, — говорил он, пристально разглядывая Мусю, как будто впервые видел эту тоненькую блондинку, — решили, что я такой же, как все... Вы сейчас до неприятности земная, страшно здешняя. Никакого полета воображения, никакой фантазии. Я страшно ошибся в вас. И все в вашем окружении так плоско и бесформенно. Все так смешно...

Петр вдруг захохотал и долго не мог остановить своего нервного смеха. От этого смеха окружающим стало не по себе; такое ощущение бывает перед зверем, взломавшим клетку и готовым на прыжок; напряжение сковывает всех от неизвестности, куда этот зверь через секунду прыгнет: на людей ли, стоящих вокруг, или же в сторону, чтобы спасти свою шкуру, сохранить свою свободу.

— Страшно смешно! — продолжал Петр сквозь смех: — Смешна и ваша боязнь за меня. Но я все же сейчас брошусь в воду. Брошусь и... не только к вашему удивлению не утону, но даже и...

Муся не успела опомниться, как в следующий момент Петр, расставив локти калачиком, спокойно шагнул в пустоту и стал плавно опускаться в воду.

— Петя! — крикнула Муся, и в ее крике был и ужас и удивление: — Смотрите, доктор, смотрите! Он ведь летит! Летит!

— Действительно что-то такое... странное... — бормотал доктор, всматриваясь в медленно расплывающуюся в тумане фигуру Петра. Не было слышно ни того, как он упал, ни даже простого всплеска воды, но Петра уже не было, он исчез.

— Петя! Петя! — вся в слезах звала Муся, но ответа не было. Невозмутимо равнодушно продолжали набегать на скалы волны, разбиваясь на мелкие соленые брызги, которые в этот серый хмурый день совсем не претендовали на

какое-либо красивое сравнение и были просто мелкими сферическими формациями, химически совершенно однородными с той громадой воды, что отливая вблизи обманчивым серо-зеленым цветом, вдалеке слегка синела и, подергиваясь негой, широко разливалась до самого горизонта. И лишь там, вдали от свидетелей, она цепко обхватывала нахмуренное, седое небо, сливаясь с ним в одно целое.

— Катер! Надо достать катер! Сейчас прилив, его обязательно прибьет к берегу, — кричал доктор.

Но и с катером Петра нигде не нашли.

— Теперь я могу поставить твердый диагноз, — говорил доктор, — этот человек был безусловно ненормальный, у него была так называемая «мания грандиоза». Он убедил себя, что он не такой как все и что даже умереть он должен както особенно. К сожалению, несчастный молодой человек всетаки утонул самым обычным образом.

— Нет, нет, доктор, — исступленно кричала Муся: — Вы ведь не слышали падения тела? Он не упал в воду, не упал! Он просто исчез из глаз, — добивалась Муся.

— За шумом прибоя падения тела можно было и не слышать. Единственно, в чем я безошибочно уверен, это, что он расстроил и вашу нервную систему, вам самой необходимо лечение.

Но Муся его не слушала. Нет, Петр не мог утонуть, — она была в этом совершенно уверена. Благодаря своему аппарату, он сознательно исчез, приревновав ее к доктору, к этому сухому педанту, чей негибкий мозг не мог воспринять всю тонкость изобретения Петра, и Муся теперь просто возненавидела этого доктора.

Она настолько была потрясена, что не могла оставаться одна в доме, где все напоминало ей о муже. В особенности его рабочая комната. Правда, в ней не было теперь самого аппарата, над которым Петр столько работал, — его он унес с собой, но из-за этого рабочая комната наводила на Мусю еще большую тоску. Комната была мертва, из нее была вынута душа.

И оставив дом, Муся уходила к морю в надежде, что вот-вот Петр появится, вынырнет откуда нибудь. Может быть, он невидимкой стоит тут сейчас рядом? А этот шум осеннего леса не есть ли приглушенный смех Петра?

— Нет, нет, я не потеряла в тебя веры! Ты напрасно меня упрекнул в этом. Я верю тебе, милый мой! — горячо шептала она: — Я знаю, ты не погиб! И ты вернешься! Вернешься из недоступного моему познанию измерения. Приди же, приди!

И часто с тех пор на берегу моря можно было видеть молодую, растрепанную и оборванную женщину, которая с расширенными глазами ходила по мокрому песку, карабкалась на скалы, до крови обдирая себе руки о камни. А потом спускалась к лесу, охваченному предсмертной осенней тоской. Злобный ветер срывал листья с деревьев, а они, укоризненно качая своими лысеющими верхушками, недовольно шумели. Женщина бережно собирала опавшие желтые листья, нежно прижималась к ним лицом и прислушивалась к их таинственному шуршанью. В их невнятном шепоте ей слышалось что-то любовное, ласковое . . . Улыбка озаряла ее безумное лицо, а порывистый осенний ветер сердито срывал с губ и уносил в беспредельность ее нежное «милый, милый, милый» . . .

Дед

Профессора гистологии Ивана Федоровича П. дома все просто звали «дедом». Ему было за 60, но он все еще был полон энергии. Рано вставал и сейчас же ехал на лекции; потом проводил несколько часов в лаборатории при клинике, ездил на частную практику, а остаток дня просиживал в пристройке своего собственного дома, где у него была прекрасно оборудованная мастерская. И тут, он сам признавал, проводил лучшие часы своей жизни. Здесь профессор занимался столярным ремеслом.

Он был артистическим резчиком, и с его верстака выходили поистине прекрасные вещи. В его кабинете не было решительно ничего покупного. Все, от библиотечного шкафа до чернильного прибора, он смастерил сам, своими собственными руками.

Но последней его гордостью был письменный стол, который отличался не только красотой резьбы, но и оригинальным и в высшей степени сложным устройством вообще. Дед был просто влюблен в этот стол. С откидной крышкой, многочисленными полочками и подставочками, стол был верхом столярного мастерства. В нем была масса всяких ящичков, и больших и малых, с очень сложно скомбинированной системой запоров; были секретные отделения и разные потайные ящички, скрытые или за двойными стенками или за накладными наличниками и сложным вырезным узором.

Этим письменным столом фактически мог пользоваться только один дед. Он один был господином этого столярного чуда, потому что для того, чтобы сесть и написать самое простое письмо, нужно было знать, какую кнопку нажать, где отодвинуть резьбу, как выдвинуть прятавшуюся под замысловатым узором пластинку — все это было так сложно, что ни у кого даже и желания не было подходить к этой вещи.

Вера Александровна прослужила у деда фельдшерицей около 30 лет. Ввиду того, что за последнее время профессор очень сократил частную практику, Вера Александровна решила выйти в отставку.

Это решение она приняла как раз перед самым Рождеством, думая провести праздники со своей матерью, с которой очень давно не виделась. Уехать из большого города, поселиться в деревне, и в деревенской тиши доживать с родной старушкой дни — стало ее мечтой.

Но за 30 лет Вера Александровна, конечно, очень привязалась к семье профессора, сдружилась с его женой и считалась у них чем то вроде родственницы. Поэтому уезжать тоже было нелегко. И когда тронулся поезд и изчезли из виду платки, долго белыми птицами трепетавшие в руках деда и его жены, Вера Александровна заплакала.

Откинувшись в угол купе, она старалась спрятать от пассажиров непрошенные слезы, наполнившие ее уже немолодые, окруженные мелкими морщинками глаза.

Да и то правда, что за время службы у деда Вера Александровна незаметно отошла от своих прямых обязанностей фельдшерицы и часто просто была не то нянькой, не то сестрой. Ей приходилось следить и за тем, чтобы дед не перетруждал себя работой в мастерской, и чтобы он во время ел, во время ложился спать. Она знала, что и дед привык к этим ее маленьким заботам и наверно долго будет чувствовать их отсутствие.

И сидя теперь в поезде, уносящем ее от милых стариков, Вера Александровна неожиданно для себя пришла к убеж-

дению, что ее отъезд был не продуман и что, уезжая, она поступила эгоистично. Нужно было сесть в поезд, чтобы убедиться, что она в сущности не имела права оставлять этих двух беспомощных людей на попечение друг друга.

Но когда она приехала в деревню и встретилась с матерью, ее мысли были несколько отвлечены. Теперь ее заботы целиком перенеслись на мать, и хозяйственные дела заняли ее досуг. А потом подошли праздники.

Рождество прошло в новой, волнующей своей новизной, обстановке. Но ложась спать в рождественскую ночь, Вера Александровна опять перенеслась мыслями к оставленным ею старикам, с которыми она прожила почти половину жизни.

Доброе, ласковое лицо деда и симпатичное своей простотой и безвольностью лицо его спутницы жизни, встали перед нею как живые. С укором в глазах смотрели они на ту, которая ради личных интересов и какой-то другой, «своей» жизни покинула их.

«Не поел бы дед на ночь лишнего . . . И меняет ли он после работы в мастерской промокшую рубаху? — думала Вера Александровна: — Милой, но страшно неприспособленной к жизни старушке трудно, конечно, справиться со всеми, вдруг свалившимися на ее голову, заботами. До старости осталась она ребенком, за которым тоже нужен глаз да глаз».

С грустными мыслями легла Вера Александровна в ту ночь спать.

И видит она странный сон.

Будто входит к ней в комнату дед. Важный такой: в полном мундире и. . . в серебряных туфельках, какие обычно надевают покойникам. Вера Александровна невольно удивилась: почему такие туфельки?

— Вот, некому за вами присмотреть, вы и надели что-то несуразное, — начала она во сне ему выговаривать.

— Это неважно, дорогая, — ответил дед, — все равно меня завтра будут хоронить.

— Как хоронить?

— Да ведь я же умер!

— Зачем же вы, Иван Федорович, так? Вот только не досмотри за вами, — опять рассердилась Вера Александровна.

— Да, конечно... — как бы извиняясь, промямлил дед: — Плотно покушал я за праздничным столом (я знаю, вы бы мне не позволили есть вторую порцию поросенка), а потом пошел отдохнуть. Думал, полежу с полчасика, ан, потом и не проснулся вовсе...

— Что же теперь делать? — заволновалась Вера Александровна.

— Ничего уже не поделаешь! Но пришел то я к вам, главным образом, из-за завещания. Старуха моя совсем растерялась. Тут и пристава, тут и гробовщики... У нее, вы знаете, на все это ведь не хватает ни рассудительности, ни расторопности. Совсем потерялась, бедняжка! А тут еще и родственники наседают. Понаехали со всех городов на мои похороны. А старуха моя завещания то найти и не может. Оно в моем письменном столе, в потайном ящичке. Пожалуйста, дорогая Вера Александровна, поезжайте к нам, отыщите это завещание. Только вам я и могу доверить секрет, как его отыскать. Иначе родственнички оставят моей старухе какие-нибудь крохи.

Тут дед подробно рассказал Вере Александровне, как добраться до особого секретного отделения, в котором хранилось завещание.

Вера Александровна проснулась вся в холодном поту.

«Что за странный сон, — подумала она, — все ли в доме профессора благополучно? Не приключилась ли беда с дедом?»

С этой ночи Вера Александровна ни о чем больше не могла думать, как только о деде. Все ее личные дела отошли на задний план. Она металась по дому, как птица в клетке.

«Послать телеграмму? Запросить кого-нибудь из знакомых?»...

Ее нервы напряглись до того, что она уже просто затосковала. Неприятное чувство глодало ее и росло и росло...

Наконец, она приняла решение съездить в город и проведать стариков.

Когда Вера Александровна с чемоданами в руках появилась в передней деда, на ней сразу повисла жена профессора.

— Милочка! Родная! Да как же я вам рада!

И как ребенок, разрыдалась на ее плече.

— Горе то, горе какое у нас... Дед... дед то мой, — сквозь слезы говорила она, — приказал долго жить. Во сне умер... Лег и не проснулся...

Все закружилось пред глазами Веры Александровны. Чемоданы сами выпали из ее вдруг ослабевших рук.

В следующую же минуту ее окружили какие-то незнакомые и полузнакомые люди, все старались как-то помочь ошеломленной женщине. Их было много, этих чужих людей. Племянники деда, его племянницы, двоюродные и родные братья с сестрами...

А звонки в передней почти не прекращались. Приходили все новые и новые лица. Во всем доме стояла такая кутерьма, что у Веры Александровны начало трещать в голове.

Жена же профессора ходила из угла в угол как лунатик, а глаза ее не высыхали от слез.

— Милочка, — опять бросилась она к Вере Александровне. Ухватившись за ее платье, старуха опять истошно зарыдала: — Ничего... Ну, ничегошеньки я не понимаю в делах. У деда остался капитал, а вот все они, — старуха кивнула в сторону родственников, — хотят меня на старости лет нищей оставить. И даже дом этот... отнимают. Все, говорят, делить будем. Выезжай, говорят... А куда я выеду? Я говорю им: не пустил бы меня дед по миру, оставил он завещание в мою пользу. Но вот найти мы не можем этого завещания. Уж как тщательно искали!

Волосы встали дыбом на голове Веры Александровны: ведь все это ей во сне уже рассказал сам дед.

— В его письменном столе, — еле слышно проговорила Вера Александровна.

— Уж все перерыли! Милочка! Вы ведь знаете этот дедовский стол: его ведь никто открыть не мог. Так я лучших слесарей приглашала. Вскрывали! Ничего не нашли! Сестра то Ивана Федоровича ехидничает, что никакого завещания никогда, говорит, вообще не было. А что все это я сама придумала. С отчаяния будто. Милочка! Да ведь я же знаю, что было завещание. Наверное знаю! Дед сам мне говорил. Вот только, куда он его запрятал?

В передней опять раздался звонок. Несчастная вдова даже вздрогнула.

— Десять часов ... — в ужасе посмотрела она на часы и опять залилась слезами: — Это пристав. Он назначил мне сегодня последний срок. Если не найду завещания, значит будем, говорит, считать, что такового сделано не было и приступим к делу.

В дверях действительно показался пристав. Его сразу окружили родственники деда и наперерыв стали рапортовать, что положение с завещанием не изменилось.

— Доказательства явные, что никакого предсмертного распоряжения профессор сделать не успел, — говорили они.

— Завещание в письменном столе, — еле слышно повторила Вера Александровна.

Все сразу повернули головы в сторону фельдшерицы.

— Она только что приехала и не знает, что над этим загадочным чудовищем работали слесари. Стол был вскрыт и в нем ничего не найдено, — раздалось несколько голосов сразу.

— Господа! — покрыл все голоса голос двоюродного брата — смешно, в конце концов, толочь воду в ступе. Завещание это — блеф! Его нет и никогда не было. Мы только теряем время, и больше ничего.

— Да, да, конечно!

— Надо составить акт и — дело с концом, — опять раздались взволнованные голоса вокруг.

Бледная, еле держась на ногах от волнения, Вера Александровна молча встала и направилась в кабинет деда.

— Эта фельдшерица все-таки стоит на своем. Но чего же идти против рожна, как говорится; родная жена не нашла, а тут какая то . . .

Но тем не менее все с любопытством двинулись вслед за Верой Александровной.

Оказавшись в кабинете, перед «загадочным чудовищем», как здесь назвали дедовский письменный стол, Вера Александровна струхнула.

— Я никогда не подходила к этому столу, — обернулась она к стоявшим вокруг, — но я видела сон . . .

Ее слова были покрыты взрывом смеха. Послышались насмешки, шутки. Не обращая ни на кого внимания, чувствуя, что она лишь выполняет долг перед умершим, Вера Александровна положила трясущиеся руки на дедовский стол. Она на момент закрыла глаза. Сон в рождественскую ночь был таким выпуклым, так отчетливо стоял пред нею дед в своем мундире и в серебряных туфельках, что она не могла поверить, что все это было «так просто», от «несварения желудка» или еще от чего-либо подобного, как сейчас кто-то за ее спиной сказал скептически. Нет, сон этот, она была теперь уверена, был «пророческий». Ведь половина его уже на лицо. Так неужели же остальное может быть «выдумкой», «больным воображением старой девы?»

Дед несколько раз повторил свой секрет стола, и Вера Александровна все очень хорошо запомнила.

— Господи помоги!

Как в трансе задвигала она руками, в то время как губы ее непроизвольно шептали вслух:

— Отодвинуть дубовый листик резьбы . . . справа . . . в верхней части ящика . . . за наличником. Надавить еловую

шишку в середине... на пол дюйма расстояния от левой ножки стола. Выдвинуть полочку в глубине... Нажать под вторым ящиком слева...

И вдруг! На глазах у всех выскочил малюсенький ящичек, и в нем все увидели какую-то во много раз сложенную бумагу.

За спиной Веры Александровны кто-то вскрикнул.

Сама Вера Александровна не могла сдвинуться с места. Чьи-то дрожащие руки развернули бумагу. Да, это было завещание. То самое завещание, которое все так тщетно искали.

Вера Александровна без чувств рухнула на пол.

Колдун

Ленивый летний день. Вся природа окутана ленью: лениво течет река, лениво повисли головками цветы у дороги. В воздухе стоит духота, хотя солнце за весь день еще не показывалось из-за лениво же ползущих облаков.

Но вот облака начали редеть; небо посветлело, будто одно за другим сбрасывало с себя легкие покрывала — и из серого стало голубым. И тогда-то весь день прятавшееся солнце, наконец, нехотя выглянуло и устало взглянуло на землю. Несколько миллиардов лет смотрит оно на эту планету, и все то одно и то же, ничего нового: скучно! Прикрывшись легким облачком, солнце разочарованно опять скрылось.

Костя медленно поднялся с берега.

Этот белокурый юноша утомился и однообразным журчанием воды у плотины и вообще всем сегодняшним ленивым днем. Его молодому телу хотелось движения, даже приключения. Юношеское воображение несло его далеко за пределы той тихой деревни, где он проводил лето.

Он вышел на дорогу и зашагал к соседнему поместью.

Уже не в первый раз предпринимал он эту прогулку. Соседнее поместье привлекало своей полной изолированностью, разжигавшей его любопытство. От дороги оно было огорожено высокой каменной стеной. Ворота всегда были на запоре. Над стеной повидимому от центрального строения лишь возвышалась длинная труба, совсем не похожая на обычные

дымоходы и наверно была специального назначения. Вероятно там были и другие дома, но самым главным за этой каменной стеной безусловно было именно это строение, от которого высоко к небу тянулась труба.

Очень мало было известно о самом владельце этого поместья. Соседи знали лишь, что он был вдовец и что у него было шестеро сыновей, мал-мала меньше. Жил он очень замкнуто и ни с кем не обращался. Говорили, что он увлекается химией и все свое свободное время отдает науке. Высокая труба над загадочным строением очевидно и была вытяжной трубой его химической лаборатории, где он производил свои научные опыты, делал анализы каких-нибудь сложных элементов, изучал реакции всевозможных химических соединений. Наверно, научные исследования для владельца этого поместья были целью его жизни и потому он и отгородился от остального мира высокой каменной стеной.

Чем меньше знали о нем, тем больше возбуждал он любопытство.

Соседи не помнят, видели ли они когда-нибудь этого чудака за все три года, как он построил себе эту тюрьму и заточил в ней и себя и своих детей.

Из ворот иногда выходила лишь служанка, крупная женщина с землистым цветом лица, острыми маленькими глазками и чрезвычайно длинным носом, особенно выделявшимся потому, что головной платок она надевала по самые глаза.

Но как же жили дети? Зачем этот нелюдим замуровал и их в четырех стенах? Правда, их было шестеро и, возможно, что они вполне удовлетворялись своим обществом. Иногда из-за ограды раздавался их неестественный визг, как будто они давно стояли у дверей и только ждали момента, когда их выпустят во двор. Слушая этот визг, странным казалось, что его издавали дети: он больше походил на писк каких-то мелких животных. Очевидно, живя все время взаперти, эти мальчики и играть-то не умели, и от радости быть на воле только бешено носились по двору и визжали.

Что же за чудак жил за каменной стеной?

Однообразная деревенская жизнь и тусклый летний день более, чем когда-либо обостряли сегодня любопытство Кости. Его горячая голова не могла долее выносить этой таинственности под самым боком его жилья. Он решил во что бы то ни стало перелезть через ограду и познакомиться с чудаком-ученым, осмотреть его лабораторию и научить его детей хотя бы играть в бабки.

Костя еще раз обошел всю стену, изучая, нельзя ли за что-нибудь зацепиться. Нет, на ней решительно никаких выступов не было. Но ведь можно перекинуть веревку с крючком и затем вскарабкаться наверх. Этот способ завести знакомство, конечно, нельзя признать учтивым, но разве такой пустяк мог остановить шестнадцатилетнего юношу, изнывающего от скуки.

Сказано-сделано.

Найти веревку и приделать крючок к одному из ее концов не заняло много времени. После нескольких попыток удалось закрепить крючок, и Костя, не заботясь о чистоте своего костюма, пополз вверх. Еще момент — и он уже в чужом дворе, по ту сторону заинтриговавшей его стены.

Неловко спрыгнув с высокой стены, он ударился головой и даже как-будто на момент потерял сознание. Голова слегка кружилась, когда Костя поднялся с земли и стал осматривать чужой двор.

Вдали виднелся длинный, несуразной постройки, особняк, похожий скорее на барак, чем на жилой дом. Посредине же, как Костя и предполагал, стояло то самое здание, высокая труба которого была видна с дороги. Сейчас Костя окончательно был уверен, что это была или лаборатория, или вообще постройка специального научного назначения.

«А может быть, просто баня? — подумал он, ближе подходя к двери и увидя громадного размера печь: — Или летняя кухня? Такая же несуразная, как и жилой дом вдали. Или же это» . . .

Костя не успел закончить своей мысли.

— Ага, молодой человек! — раздалось сзади, и кто-то крепко схватил его за локти. Костя даже вздрогнул от неожиданности. Рядом стоял очень высокий мужчина в длинном, мышиного цвета, балахоне, скрадывавшем всю его фигуру. Видна была только голова да цепкие, когтистые руки, вцепившиеся в Костю.

Костя попробовал освободиться.

— Куда же вы, молодой человек? — сказал мужчина в сером, — не торопитесь. Пришли в чужой дом, так будьте гостем.

Тонкие, бесцветные губы говорящего растянулись до ушей. От этой улыбки Косте стало не по себе: что-то гадливо-животное проскользнуло по лицу мужчины. Его длинный мясистый нос затрясся от сдерживаемого, внутреннего смеха; маленькие глаза скрылись под нависшими бровями и низким лбом, на который клочьями свешивались длинные, седые, давно нечесанные, волосы.

Костя с ужасом рассматривал хозяина поместья, куда он так нагло залез. Вся смелость и любопытство, одолевавшие его полчаса назад, когда он лез через стену, разом соскочили при виде трясущейся безмолвным смехом серой фигуры, крепко державшей его за локти.

«Он или чудак, или... или ненормальный, — подумал Костя, — было бы благоразумно поскорее уйти отсюда».

Костя опять с силой дернул плечами, пытаясь освободиться от цепких рук помешанного старика.

— Нет, нет! Зачем же вам уходить? — ехидно процедил сквозь сжатые губы старик: — Оставайтесь к обеду. Уж ведь и стол накрыт.

Холодок пробежал по спине Кости от тона, каким были сказаны эти, казалось бы, такие простые слова.

— Я сейчас познакомлю вас со своим выводком.

Старик пронзительно свистнул, и в тот же миг из дома, один за другим, выбежали шесть серых двуногих зверенышей. С диким визгом они обступили Костю. Кто схватил его

за руку, кто повис на ногах. Старик тотчас же отпустил локти Кости.

— Ну, вот вам и общество для приятного времяпровождения, — опять хихикнул старик, — а я сейчас дровишек в печку подброшу, чтоб погорячее обед был. Хи-хи...

Старик прошел в здание с высокой трубой, и почти в тот же момент Костя увидел густой черный дым. Дым, который он не раз наблюдал с дороги.

«Что же, — думал он, — обед то только сейчас начали готовить, что-ли? А ведь старик, кажется, сказал, что стол уже накрыт. Как-то странно»...

Впрочем, то была не единственная странность, с которой он уже встретился здесь, и стал разглядывать шестерых зверенышей, в плену которых он сейчас оказался.

Все шесть мальчиков до чрезвычайности были похожи друг на друга. Все они были остролицые, с узкими мышиными глазками и острыми, торчащими в стороны, ушами. Все шесть были бледные, с серой, нездоровой кожей на лице. Своими мордочками они ужасно напоминали мышей. Их однотонные серые костюмчики дополняли неприятное сходство.

Вцепившись в Костю, мальчики немигающими глазами молча смотрели на него. Косте сделалось не по себе от их пристального взгляда. Был момент, когда напрягшись всем своим молодым здоровым телом, он решил разбросать в стороны прицепившиеся к нему серые фигурки и броситься к воротам. Он уже издали рассмотрел их запор изнутри (простая скобка — больше ничего), но в этот момент из здания, которое Костя принял за лабораторию, раздался неприятный, скрипучий голос хозяина:

— А ну-ка, детки, обедать! Да волоките и гостя. Хи-хи-хи!

Дикий визг, тоже не раз слышанный Костей, когда ему случалось проходить мимо этого странного жилья, огласил воздух: все шесть мальчиков враз взвизгнули, еще крепче вцепились в Костю и поволокли его к жилому бараку. Костя не сопротивлялся. Неприятное чувство, охватившее его, еще

не вполне вытесняло любопытство и, влекомый детьми-мышатами, он вошел в темный коридор. Казалось, коридор никогда не кончится, такой он был длинный. Но вот мальчики втолкнули его в дверь. Он невольно простер перед собой руки: в комнате, со спущенными тяжелыми драпри, было почти совершенно темно. Осмотревшись, он увидел темно-красные, почти черные, обои на пустых стенах и посередине накрытый стол.

— Садитесь же, — услышал Костя за своей спиной, и когтистая рука толкнула его на стул.

Как только Костя сел, раздался свист хлыста, и мальчики с визгом бросились занимать свои места за столом. Почти тотчас же кухарка внесла миску с дымящимся супом. Кухарка была та самая женщина, которую Костя не раз видел на улице. И сейчас она так же, как и на улице, была повязана платком, так что ее остроносого лица с мышиными глазами почти не было видно. Хмурая, она молча поставила еду на стол и как страж встала у дверей.

Старик-отец вдруг сделался страшно болтливым и, говоря безостановочно, стал разливать суп. Его болтовня отвлекала Костю от наблюдений. Но все же он обратил внимание, что и суповая миска в этом странном семействе была необычна: она была настолько высока, что совершенно не видно было ее содержимого. Заметив, что Костя усиленно вытягивает шею, старик сказал:

— А вот, молодой человек, та картина на стене — работа большого мастера. Не узнаете?

Костя мельком взглянул на действительно художественную картину, которую он раньше не заметил, но не успел высказать о ней своего мнения, так как поставленная перед ним тарелка с какой-то похлебкой отвлекла его внимание. Мутно-серого цвета, с плавающими красными кусками мяса, длинными, тонкими, напоминающими хвосты, похлебка эта совершенно не возбуждала аппетита. Костя не мог заставить себя даже к ней притронуться.

— Будьте благоразумны, молодой человек, ешьте! — строго заметил старик. — Я думал, что вы любопытны. . . — насмешливо протянул он, растягивая свои тонкие губы в отвратительнейшую улыбку. — Вам все равно не отвертеться, — загадочно сказал он, сжимая в руках длинную плеть, а глаза его при этом сузились до щелочек, — после обеда я вас провожу в лабораторию, покажу интереснейшие научные опыты, чтобы. . . вполне удовлетворить ваше любопытство. А теперь ешьте, отведайте нашу хлеб-соль.

Какая-то недоговоренность была в словах старика, и Косте стало жутко. Он стал обдумывать, как бы поудобнее ускользнуть из этого странного дома. Думая так, он машинально взялся за ложку. И вдруг он увидел, как при этом его движении все шесть мальчишек напряженно уставились на него, чего-то выжидая. У них даже уши поднялись кверху, а глаза сделались блестящими, как будто они предвкушали что-то особенно сладостное. Костя оглянул их всех, посмотрел на отца: никто из них не ел, и все лишь с большим интересом смотрели на него.

— Любопытны? — одними губами прошептал старик, горящим плотоядным взглядом смотря на Костю. Под этим взглядом Костя быстро, стараясь не глядеть на плавающее неаппетитное мясо, опорожнил тарелку.

Тогда старик звонко ударил ложкой, и по команде все шесть мальчиков съели свои порции.

А старик в это время начал ритмично раскачиваться в стороны и напевать:

— Тра-ля-ля-ля, ля-ля, ля-ля!

Костя вдруг почувствовал дурноту. Его бросило в жар, а в животе начались судороги. Ему показалось, что в полутемной комнате сделалось еще темнее, а узкие, стеклянные глаза старика стали светиться зеленоватым фосфоресцирующим светом. Он все продолжал раскачиваться, и его полубезумное траляляканье колокольным звоном билось в уши Кости.

Мальчики не спускали глаз с Кости и, не раскрывая ртов, тоже начали напевать, и их мурлыканье напоминало урчанье

зверя. Косте даже показалось, что и громадная кухарка у дверей тоже начала раскачиваться в такт напеваемой стариком мелодии.

Ужас объял Костю. Где он? Что это за люди? Да и люди ли это? Он вдруг понял, что попал в западню и что ему, как можно скорее, надо убегать отсюда, спасать свою жизнь. Напрягая все свои силы против все более охватывающей дурноты, он поднялся из-за стола.

— Я все же не рассмотрел рекомендуемой вами картины, — сказал он, подходя ближе к единственной картине, висевшей у самых дверей.

Траляляканье сразу прекратилось. Все мальчики повернули головы за Костей, и их острые уши совсем поднялись кверху, как бы настораживаясь.

Теперь все остальные молчали, а говорил только Костя. Говорил, что-то совсем глупо-бессмысленное, получался просто набор слов: он не мог овладеть своей мыслью, она ускользала от него.

— Картина... картина художника. Яркие краски... темные, зеленые, пятнами... краски... краски... краски...

Краем глаза Костя заглянул в длинный темный коридор, через который его сюда привели. Если быстро рвануться, то можно было б успеть добежать до выходной двери. Только бежать надо было опрометью, иначе догонят.

Старик со своими выродками-сыновьями напряженно следил за каждым движением Кости, который не переставал говорить. Теряя дар речи, он чувствовал, что в следующую минуту может потерять и сознание: ему становилось все хуже. Как в тумане, он едва различал недалеко от себя громадную фигуру кухарки, которая под его несуразный монолог в каком-то экстазе поводила плечами и шевелила своим толстым носом, который сейчас почти сходился с выпяченными вперед толстыми же губами. Костя отчетливо видел, как шевелились усы на ее верхней губе. В этот момент ее профиль из-под платка отчетливее чем когда-либо напоминал отвратительную крысу.

— Мыши... Все они — мыши! — отчетливым проблеском сознания прорезало мозг Кости. Охваченный паническим ужасом стать предметом научного опыта полубезумного старика, он рванулся в дверь и исчез в темноте коридора.

В тот же миг раздался страшный треск и звон. За звоном раздался сильнейший грохот. Что-то как молния блеснуло сзади Кости и тотчас же погасло. Почувствовался запах серы. А потом по длинному гулкому коридору Костя отчетливо услышал бег когтистых лап и плотоядный визг животных.

Костя бежал со всех ног, но погоня настигала его, и он едва успел шагнуть в просвет, как почти у самой шеи почувствовал мохнатые лапы бежавших за ним животных. Их писк сейчас дошел до высшего напряжения. Они бежали, подгоняемые отчаянным свистом своего хозяина и подстегиваемые ударами длиннейшей плети.

Вот чья-то когтистая лапа царапнула Костю по спине, узкие морды лезли ему под ноги...

Вот еще немного усилия. Он уже пробежал мимо загадочной лаборатории, из высокой трубы которой все еще валом валил густой дым, а через открытые двери слышался гул громадного махового колеса.

«Лишь бы не потерять сознания... не потерять сознания»...

Отбиваясь от наседавших на него зверей, Костя рванулся к воротам, повернул скобку.

И тотчас же опять раздался сильнейший грохот чего-то тяжелого; писк животных, дойдя до дикого визга, вдруг оборвался и перешел в фырканье и рычанье. Костя почувствовал, что животные отстали. Тогда он, наконец, оглянулся. В пяти шагах от него, ощерившись, стояли шесть большущих крыс. Жадными глазами они смотрели на ускользающую жертву и злобно скребли лапами землю. Из-за их голов выглядывала преотвратительная морда громадной, с человеческий рост, крысы. Она карабкалась на спины шестерых малых, гнусно попискивая, а вокруг ее шеи еще болтался цветной платок, всего несколько минут назад красовавшийся на голове «кухарки».

Гнусные животные, чувствуя свое бессилие, лишь разочарованно провожали Костю хищными глазами и злобно шипели, шевеля остроконечными ушами.

В дверях же темного коридора, с длиннейшей плетью в руке, стоял старик. Он казался совсем изможденным. Его всклокоченные волосы совсем встали дыбом. До крови ломая ногти о притолоку двери, он выделывал руками какие-то пассы, а из его стиснутого рта розовая пена падала на серый мышиного цвета балахон.

При виде всего этого Косте почти сделалось дурно, и он едва нашел в себе силы рвануть скобку и шагнуть за ворота, которые тотчас же за ним захлопнулись.

Придерживая ободранные штанины, он медленно, измученным шагом, побрел по дороге.

В последний раз оглянувшись на дом гнусного колдуна, он видел, как из раскаленной трубы подлой аптекарской кухни фейерверком вылетали искры. Они высоко взлетали в воздух и, на секунду задумавшись, медленно, как бы нехотя, опускались вниз.

На грани двух миров

В германскую войну, для укомплектования французской армии на общее дело союзников, я был отправлен с русской бригадой во Францию.

В Марселе я очень близко сошелся с двумя братьями Рено, которых в нашей роте называли «русскими французами», потому что по матери они были русскими и прекрасно говорили по-русски. Я подружился с Володей и, в особенности, с Санькой Рено, который был со мной однолетка, причем совпадал даже и наш день рождения.

Санька был легкомысленным и временами очень озорным, но открытым, хорошим юношей. Володя был серьезнее, с небольшим мистическим уклоном и так же, как и брат, очень религиозен.

Наша дружба была крепка, и с братьями Рено я почти не расставался. Мы вместе потом оказались и под Верденом, где русская бригада героически умирала за Францию, своими жизнями выправляя русло истории.

В одном из сражений меня вдруг неожиданно дернуло и отбросило на несколько саженей. Рана была не серьезная, но от контузии я на короткое время потерял сознание. Когда же я пришел в себя и поднялся, чтобы идти на перевязочный пункт, то смог пройти лишь короткое расстояние, после чего меня вдруг разбил полный паралич. Оставаясь в сознании, я упал, потеряв всякую способность двигаться.

Братья Рено, не видя меня после сражения, заволновались.

— Он убит! Убит! — истерически кричал Санька, хватаясь за голову и готовый в любую минуту разразиться слезами.

— Не говори так! Он, может быть, просто ранен, — строго остановил экспансивного брата Володя: — А если он даже и убит — на все воля Божья. Пойдем искать его тело.

Санька первый наткнулся на меня.

— Вот он! Вот он! — закричал он, признав меня. — Он мертв! Володя, он мертв!

Со скорбным лицом Санька благоговейно меня перекрестил, сложил на груди мои руки и накрыл лицо фуражкой. Я готов был кричать, что я — не труп, что я жив, но не мог издать ни одного звука, не мог двинуть ни одним мускулом и с ужасом почувствовал, что Санька медленно отходит от меня.

Но тут подошел Володя. Он очень внимательно осмотрел и ощупал меня, а потом веско проговорил:

— Он мягкий, у него сгибаются все члены. Он не мертв.

Санька обозвал его «дураком», но Володя, несмотря ни на что, велел взвалить меня ему на плечи и так, при помощи брата, донес меня до самого госпиталя. Таким образом, Володя спас меня от возможности быть заживо погребенным.

В госпитале я был подвергнут серьезному и долгому лечению: моя контузия была из тяжелых.

Когда же мне стало немного лучше, я получил отпуск и уехал в Россию к родным, совсем потеряв из виду братьев Рено. Я остро чувствовал разлуку со своими друзьями, с которыми я ведь делил и радость и горе. Так хотелось с ними повидаться, рассказать все, что я пережил за это время, а главное, хотелось поблагодарить Володю за свое спасение.

Я уже совсем поправился, как вдруг узнал, что мой полк перевели в Одессу. Я тотчас же решил ехать туда. В это время страна уже была охвачена революцией, и для меня было очень благоразумно уехать на юг.

Приехав в Одессу, я тотчас же отыскал свой бывший полк и разузнал, что «русские французы» все еще находились при нем.

Я уже совсем был готов идти повидать своих друзей, как вдруг, в самый последний момент, у меня родилась озорная идея подшутить над Санькой и отомстить ему за то, что он перекрестил меня в поле как мертвого. Разом я составил шутливый план мести и, дождавшись позднего вечера, оделся в полную форму, нацепил на себя все свои медали, ордена, шашку, захватил даже револьвер и отправился в казармы прямо к Саньке.

Когда я неожиданно вошел, я окинул глазами казарму и сразу увидел Саньку Рено. Он сидел ко мне спиной и снимал сапоги, очевидно приготавливаясь спать. Я как вошел, так и остался стоять неподвижно у входа. Вдруг Санька как бы почувствовал за своей спиной чье-то присутствие и быстро повернулся в мою сторону. Тогда я со всеми своими орденами, не сгибая колен, стал медленно на него двигаться, как командор из «Каменного гостя». С минуту Санька, с сапогом в руке, не мигая, смотрел на меня, но вдруг вскочил, перепрыгнул через койку и бросился к дверям. Так и побежал с сапогом на одной ноге. Это было настолько комично, что я не выдержал и разразился демоническим хохотом. Посрамленный Санька сразу же остановился и обернулся, чтобы убедиться, что я — живой человек, а не приведение. Я же продолжал хохотать.

— Сапог... Ха-ха-ха! Сапог... — не будучи в силах что-нибудь еще прибавить, хохотал я. Санька даже и не представлял себе, насколько смешон он был в этот момент. Но придя, наконец, в себя, он отбросил сапог, который все еще держал в руке и с радостным криком «Борис!» кинулся мне на шею.

— Борис! Борис! — повторял он и, как истый француз, стал осыпать меня поцелуями: — Живой! Ты — живой! А ведь я тебя опять за мертвого принял. Прости! Умоляю, прости! — сыпал он между бешеными поцелуями.

Обрадованный видеть этого сумбурного, неуравновешенного парнишку и ошеломленный его непосредственной радостью, я все продолжал хохотать, как сумасшедший.

— Пожалуйста, прости, что я тебя, как и тогда в поле, принял за мертвого, — продолжал извиняться Санька: — Ну и напугал же ты меня, — признался он. — Мы ведь не знали, что ты остался жив. Думали, ты давно в могиле гниешь.

— Я это подозревал, — ответил я, — а потому и решил явиться привидением в отместку за то, что ты чуть меня не похоронил тогда в поле, — шутил я.

— Смотри, — пригрозил он, — вот дай только мне умереть, я тоже какую-нибудь штуку над тобой сыграю.

— Не думаю, чтоб во второй раз подобная шутка удалась, — возразил я.

В это время вошел Володя Рено.

— Какими судьбами? — удивился он.

Санька принялся сбивчиво рассказывать историю моей мистификации. Володя совсем не одобрил шутки.

— Довольно плоско, — заключил он.

— А я, — весело добавил Санька, — пообещал ему прийти с того света. Око за око!

— Бросьте дурачиться, — оборвал его Володя. — Этим шутить нельзя. Грех! Ведь вы же оба — верующие люди.

Но поучения Володи падали на совсем неблагоприятную почву: мы его просто перестали слушать, отдавшись воспоминаниям, закидывая друг друга вопросами о прежних общих товарищах, из которых уже многих не было в живых.

Так закончилось наше первое свидание после долгой разлуки.

Конечно, я не хотел снова расставаться со своими «русскими французами» и, после ходатайства, был снова зачислен на службу в свой прежний полк, и снова я и братья Рено дружно зажили втроем.

Но не прошло и месяца, как большевизм докатился до юга. Наш французский отряд был отправлен домой во Францию. Но ни братья Рено, ни я вовсе не собирались покидать Рос-

сии в такое тревожное для нее время. Нам удалось выхлопотать увольнение, и мы, зачислившись в Добровольческую армию, остались спасать Одессу. Но как известно, спасти ее от красных не удалось, и Добровольческая армия отступила.

Надо отдать справедливость, мы сражались героически, но красные кольцом окружили нас, и я с Володей Рено попали к ним в руки.

Наши французские документы оказались для нас гибельными. Меня сразу признали за контрреволюционера, а Володю из-за его французской фамилии обвинили в шпионаже.

Нас посадили в разные камеры.

Ночью я, конечно, совсем не мог спать и вздрагивал каждый раз, когда часовой, проверяя меня, открывал окошечко моей камеры. Что-то знакомое было в лице этого часового, но вспомнить, где я его встречал, я не мог, да и не до того было.

Но вдруг я услышал, как вставляется ключ в дверь моей камеры. Я замер.

«Конец! — мелькнуло в голове. — Сейчас выведут и. . . к стенке».

Ах, как не хотелось умирать!

Часовой молча повел меня по коридорам чрезвычайки, вывел на улицу.

— Не признаете меня, барин? — вдруг спросил он меня у самых тюремных ворот: — А я вас сразу признал.

Я как ужаленный обернулся, нервы были напряжены до невероятия.

— Я — родной брат бывшего вашего кучера, Пафнутия, продолжал часовой. — Помните?

Я стал в темноте всматриваться в его добродушное, курносое лицо.

— Ну, конечно, Андрей! Мне сразу показалось. . .

— Вот что, барин, — прервал он меня, — разговаривать нам некогда. Вашего товарища-француза сегодня утром расстреляли, признали за шпиона. С вами тоже расправятся

скоро: наша власть серьезная. Идите-ка вы к Василию-кузнецу. Он вас у себя в погребе спрячет.

Тут Андрей подробно рассказал мне, как пройти к кузнецу и даже сказал пароль, благодаря которому меня к нему впустят. Затем он открыл ворота и слегка даже подтолкнул меня в спину, когда я чуть замешкался.

— С Богом! — сказал он, запирая за мной ворота.

Я бросился бежать.

Только оказавшись в погребе у Василия-кузнеца, я со всей ясностью понял ужасный смысл слов своего спасителя-часового чрезвычайки: Володя расстрелян... Володи больше нет в живых.

Целую неделю, боясь вылезти на свет Божий, я прожил в погребе. Как долго мне еще здесь сидеть? Я доходил до отчаяния. Единственный выход из этой темницы — только под красную пулю. Меня, как и невинного Володю, пристрелят, как собаку. В конце концов, я наверно и угодил бы под эту пулю, потому что больше был не в силах выносить своего неопределенного положения. Убьют, так убьют! Как вдруг, было ли то днем или ночью — не знаю, я жил в полной темноте, — ко мне в погреб влезла какая-то фигура. Я притаился, как бы умер. В руках пришедшего блеснул фонарик. Тонкой струей света он нащупал меня, и на секунду мы оба замерли, впившись друг другу в глаза. Наконец, я нашел в себе силы крикнуть:

— Санька!

— Борис! — было мне ответом.

Мы бросились друг другу в объятья.

— Какими неисповедимыми путями? — проговорил я сквозь слезы радости: — Прости меня, — стал я извиняться: — Я очень изнервничался за последнее время.

Санька остался таким же экспансивным, каким был раньше. Он не дал мне опомниться:

— Сейчас же, сию минуту вылезай отсюда. Ты думаешь, что находишься в безопасности? Ничего подобного! Кто-то

донес, что в потребе у кузнеца-Василия прячется целое гнездо белогвардейцев.

— Это я-то — целое гнездо!

— Ну да, раздули! Через несколько часов этот погреб будет взорван большевиками. Молчи и. . . идем!

Под покровом ночи, прячась то тут, то там, мы кое-как добрались до Москвы и спрятались во французской миссии.

Много пришлось пережить, многих пришлось растерять, пока наконец мы с Санькой смогли выехать во Францию. Через некоторое время я, впрочем, распрощался со своим другом и выехал в Сибирь. Однко, мы не теряли друг друга из виду и изредка переписывались.

Гражданская война тем временем сходила на нет, и силой обстоятельств я оказался в Харбине. Стараясь вспомнить свои небольшие медицинские познания, приобретенные мною в юности, я устроился помощником у одного врача, поселившись в его большой барской квартире в два этажа. С его громадным сенбернаром Руальдом я сразу же крепко подружился.

И вот, однажды ночью раздался у нас в квартире звонок. Я ничуть не удивился, потому что доктора очень часто вызывали по ночам. Я лишь машинально слушал, как горничная Капа пошла открывать дверь и как в это время Руальд жалобно завыл. Я подумал, как неприятно воет пес; обычно собаки так воют перед несчастьем. Но мой сонный мозг не мог прийти к какому-либо заключению, я лишь продолжал слушать, как Капа бегом кинулась от двери, и вслед за этим раздались чьи-то шаги.

Кто-то прошел залу и подошел к моей комнате. В ожидании посетителя я повернул выключатель. Комната осветилась, и при полном освещении дверь открылась и на пороге я увидел Саньку Рено.

— Ба! — радостно воскликнул я: — Откуда свалился? Вот неожиданность! Как ты в Харбине-то оказался? Разве произошли какие-нибудь перемены, почему ты решил приехать? Почему ничего не писал, что приедешь? — закидал я его вопросами.

Но Санька, несмотря на нашу долгую разлуку, не проявил своей обычной экспансивности и не бросился, как бывало, мне на шею. Не двигаясь, он продолжал стоять у дверей, а потом с несвойственной для него серьезностью сказал:

— Я пришел только для того, чтобы предупредить тебя о своей смерти: я умираю.

— Брось дурака валять! — прервал я его, — раз приехал, так приехал!

— Я не валяю дурака. Я на самом деле... Помнишь, как ты явился ко мне мнимо-мертвый, и я тогда обещал, что приду.

Я расхохотался, вспомнив свою злую шутку и то, как он с одним сапогом на ноге утекал от меня.

— Ладно, — вслух сказал я, — завтра поговорим, а теперь ложись спать. Вон турецкий диван, располагайся поудобнее.

Но в этот момент Санька вдруг исчез. Просто исчез! Я вскочил с кровати. Куда же девался Санька? Я открыл дверь, посмотрел туда-сюда: Санька провалился как сквозь землю. По правде сказать, я струсил и побежал к Капе.

— Был звонок? — спрашиваю я ее.

— Был.

— А кто приходил?

— А никого не было. Я пошла открывать дверь, а ее у меня из рук ветром вырвало, Руальд завыл, мне жутко стало, я дверь скорее захлопнула да и убежала к себе. Вот и все.

— Странно все это, — сказал я, чувствуя, как мурашки побежали по моей спине.

— А вы с кем это разговаривали? — в свою очередь спросила горничная. — Я слышала у вас в комнате чей-то чужой голос, подумала, что у вас значит гости, и завтра утром мне нужно лишнее кофе готовить.

Потрясенный, я ничего не смог ответить.

Я вернулся к себе, но спать не мог: так всю ночь, при полном освещении, я и просидел на кровати.

А через два дня я получил из Парижа телеграмму от мадам Бертран, тетки Рено. Она извещала меня о внезапной кончине Саньки. Умер он в тот день и час, когда приходил ко мне. Если перевести наше время на парижское, разница получалась всего в несколько минут.

Санька сдержал свое слово и действительно пришел ко мне с того света.

Сказка о Тате-Торопыжке и о волшебном цветке-неувядке

— Да... Так вот, Таточка: и растет этот цветок неизвестно где, и как найти его — никто не знает. А только, кто найдет, сорвет да вдохнет его волшебный аромат, сразу у того глаза на мир Божий откроются. И будет он видеть, как под водой танцуют русалки и пляшут феи на деревьях в садах; услышит чарующие трели трав и шепот былинок разных; почувствует дыхание камней. И станет тому человеку понятно молчание вещей. И отверзится пред ним великая тайна бытия, что скрыта от нас непосвященных, тайна всех исканий человеческих, что мы ищем и не находим, хотим знать и не познаем... Только вот отважиться надо, чтобы пойти искать этот цветок, потому что уж очень много трудностей с этим связано, искушения всякие там, ну и прочее...

А тут и сказка моя кончается, Тата. Я в том царстве была, в государстве мед пила, да только вот по усам текло, а в рот ничего не попало. А нам с тобой и спать пора!

— Нет, нет, бабушка, не надо спать. Я хочу этот цветок достать.

— Ну, тебе сейчас же и подай его, Торопыга ты этакая!

— А он красивый, этот цветок? Не такой, как все? Его сразу узнаешь? Скажи, бабушка! — не унималась Тата.

— Скажи, да скажи! — зевнула бабушка. — Красивый он цветок и цветет круглый год, не увядает, потому и называется: цветок-неувядка.

Глаза у бабушки совсем слипались от сна, она силилась держать их открытыми, но они сейчас же опять закрывались.

— Ты, Торопыжка-Стрекоза, спать иди — пора, — говорила она сквозь дрему. Голова ее все чаще окуналась и, наконец, совсем склонилась на бок, и бабушка, перестав бороться со сном, крепко-накрепко заснула.

А Таточка-Торопыжка тихонько встала с мягкой скамеечки, что была у ног бабушки, и на цыпочках вышла из дому.

Куда итти? Конечно, в лес — там она найдет этот замечательный цветок-неувядку. И найдет его сегодня же, сейчас! Ничего не любила она откладывать до завтра. Торопилась Таточка все скорее узнать, — уж такая была Торопыжка! И бегом побежала в лес.

Кругом было темно и ничего не видно, бежала Тата просто, куда ее вели ее быстрые ножки. Не знала она, правильную ли выбрала дорогу; может быть, волшебный цветок вовсе и не растет там, куда она бежала; может быть, надо бежать несколько дней — ничего не знала Тата, но все же упрямо бежала вперед.

И долго бежала она.

Наконец, повстречался ей серый лохматый козлик. Преградил он ей дорогу, мотнул бородкой в сторону опушки и сказал:

— Идем со мной, Тата, я тебя поведу по правильной дороге.

— Туда, к опушке? — недоверчиво посмотрела Тата на грязного козла с висевшей на нем клочьями шерстью: — Неправда, там не растут такие цветы. Ты ничего не знаешь!

И побежала в самую глубину леса.

И долго еще бежала она, как вдруг повстречался ей красивый волк. Преградил он ей дорогу и так сказал:

— Куда и зачем бежишь, девочка, — сама не знаешь. Доверься мне: я поведу тебя в места, где ты будешь счастлива.

Посмотрела Тата в горящие глаза волка, на его лоснящуюся гладкую шкуру. «Какой он красивый, — подумала она: — такой, конечно, знает, где и красивые цветы растут».

И протянула волку руку.

— Веди меня, куда ты знаешь.

Вдруг услышала сзади звонкий топот копытцев, оглянулась и увидела все того же смешного всклоченного козла. Козел потряс своей бородкой и тихо, неуверенно проблеял:

— К опушке лучше бы . . .

— Ах, ты опять здесь, чудак! Ну, что ты можешь знать? Вот он — другое дело.

И побежала с волком в самую чащу леса. Разинув пасть, волк не бежал, а мягко стлался по земле и все повторял:

— Вперед, вперед, Тата-Торопыжка! Спеши, спеши! Я знаю, куда тебя веду.

А сам все старался оказаться за спиной девочки. А Тата возьми да и обернись раз: проверить, тут ли волк, не бросил ли он ее одну, — и увидела, что волк плетется сзади, ощетинившись, оскалив зубы и жадно посматривая на быстрые ножки Таты: вот бы схватить — ай, вкусно!

Вскрикнула Таточка от страшного вида волка за своей спиной и бросилась в сторону от подлого животного. И вдруг натолкнулась на козлика. Он, не отставая, все время молча бежал с Татой рядом.

— Ах, опять этот противный . . .

Но вдруг встретилась с его простыми серыми глазами, такими добрыми, ласковыми и подумала: «А ведь этот не может быть предателем. Да и вообще уж не такой он плохой, просто очень некрасивый».

Козлик ничего не говорил Тате и только особенно выразительно потряхивал бородкой.

Волк же, заметив Татину нерешительность, стал ласковее ласкового, засматривал ей в глаза, заискивающе стлался животом по земле и вкрадчиво подвывал:

— Я буду хорошим, Таточка-Торопыжка. Брось ты этого дурня-козла, иди за мной, не пожалеешь.

И уж стала сомневаться Таточка в дурных замыслах волка, как вдруг всплыла в ее памяти его страшная оскаленная морда за ее спиной — мороз по коже пробежал. Посмотрела Тата на добродушного молчаливого козлика и вдруг со всего размаху решительно прыгнула ему на спину, обняла его за шею и только успела крикнуть: — Бежим, скорей! — как козел рванулся со всех четырех копыт — только волк их и видел!

Что было духу мчался козел со своей ношей в сторону опушки, разрывая рогами густую чащу леса. Острые ветки в кровь царапали ножки Таты, хлестали по лицу, хватали за платье, разрывая его в клочки; мрачные кусты преграждали дорогу и бросали в ночных беглецов репейники, искусно запутывали их волосы колючками, обращали их во взъерошенные копны. Весь лес был встревожен и возмущен наглостью козла, с которой он средь лунной ночи пробивался через самые, казалось, непроходимые гущи. Только и слышно было, как стучали его копытца да трещали рога: хрясь, хрясь . . .

Долго ли, коротко ли так бежал козел — неизвестно. То он перепрыгивал через канавы и ручьи, то взбирался на холмы, то летел вниз головой с отвеса — у Таты дух захватывало. Она от страху закрыла глаза и только крепче сжимала шею козла.

Но вскоре она почувствовала, что бежать стало легче: ветки не царапались, колючки не цеплялись. Она открыла глаза и увидела, что они уже миновали лес и бежали по ровной лужайке. А потом и лужайка кончилась.

«Куда он меня несет?»

Но было уже поздно размышлять, надо было лишь крепче держаться за козлиную шею, чтобы не упасть и не сломать своей собственной.

Вдруг громадная скала выросла перед Татой. Козел, не останавливаясь, бешено мчался прямо на нее. Тату объял ужас: «Дурак, ведь мы разобьемся на смерть об эту скалу!»

Но не успела Тата додумать этого, как козел как то странно лягнул, и Тата в миг оказалась на земле, а сам он врезался лбом в камни, и от него осталось только мокрое место.

Тата с широко открытыми от ужаса глазами смотрела на это место, где всего лишь секунду назад тряслась козлиная бородка и не могла понять всего происшедшего. Почему не убились они оба? И как ловко он ее сбросил! И все смотрела она и смотрела на эту безжалостную скалу, которая унесла доброго козлика, ради глупой Таточки-Торопыжки размозжившего себе голову.

Хотелось заплакать. Но вдруг у скалы, на том самом месте, где убился козлик, Тата увидела что-то очень яркое. Присмотревшись, она убедилась, что это был цветок. Он был настолько красив, что Тата невольно протянула к нему руку, схватила и сорвала его.

От него шел необыкновенный аромат, и Тата с неизъяснимым наслаждением вдыхала его, держа цветок в руках и любуясь его красотой.

Вдруг она стала чувствовать, что страх и ужас всего пережитого куда то уходят, и как русло высохшей реки в половодье вновь заполняется водой, так и она стала наполняться радостным, спокойным, теплым чувством. И чем дольше она вдыхала аромат этого необыкновенного цветка, тем сильнее охватывало ее это удивительное ощущение. Вскоре она перестала ощущать по отдельности свои руки и ноги, как будто их совсем не было. Да и сама она не была, как что-то отдельное, а слилась в одно со всем окружающим. Все было вместе: она и все остальное. А земля, на которой, казалось, кроме голых камней ничего не было, наоборот — была полна жизни.

Земля вздыхала и переговаривалась тысячами голосов. Радостно суетившиеся, дотоле невидимые, существа вели свою осмысленную жизнь. Камни приветливо улыбались, с добродушием впуская в свои расщелины насекомых для ночлега. И кругом весь воздух тоже был насыщен чем то невидимым живым, ласково обнимающим и нашептывающим что-то доброе, мягкими струями настойчиво и обдуманно разливающееся вокруг с определенным желанием и определенной мыслью.

И от цветка тоже потекла определенная мысль, которая сразу же беззвучно стала передаваться Тате. И мысль эта была: «Нравится ли тебе, Тата, все это?»

Тата сомневалась. Она плохо понимала, что творится вокруг нее — так необыкновенно все это было.

«Чем дальше, тем будет необыкновенней, — сейчас же ответил на ее мысли цветок: — Вот, если ты определенно захочешь, то я покажу тебе гораздо больше, но только ты ничего не будешь видеть. И ты многое услышишь такого, о чем раньше и понятия не имела, хотя никаких звуков не будет, и ничего не будет слышно. И ты познаешь новые ощущения, хотя тебе не будет ни тепло, ни холодно, ни больно, ни приятно. И ты окунешься в самый источник знания, но тебе не надо будет ни над чем задумываться и ничего не надо будет запоминать».

— А бабушка? — робко спросила Тата.

— Ничего не будет, — продолжал цветок: — будет свет без тепла и блеска, и тепло без света и пламени.

— А красивые платья будут?

— Нет, это будет ни к чему. Все будет одинаково красивым, хотя и бесформенным.

— А конфеты?

Цветок оборвал струю своей мысли, и долго Тата ничего не могла от него получить. Наконец, опять отчетливо полилось:

— Нет, милая девочка, ты не понимаешь, о чем я говорю. Ты слишком торопишься постигнуть то, чего постичь тебе

еще не предписано. Ты — Торопыжка! Не спеши! Тебе еще рано. Все придет в свое время. Сейчас же ты не готова. Иди лучше туда, где течет обычная, хотя и съуженная, но понятная тебе жизнь.

И вмиг все перемешалось, перепуталось. Таточка не знала, где она, что с ней. Была тьма, был шум, грохот, какого она никогда до того не слышала. Было страшно до жути. Она куда-то стремительно падала. И чем дальше падала, тем делалось страшнее: почему-то думалось: а успею ли я? Не поздно ли уже?

И вдруг непередаваемая радость охватила всю Тату. Сердце сильно, сильно забилось, она даже руками за него схватилась: не выпрыгнуло бы вон от радости — она отчетливо почувствовала себя стоящей на твердой земле (милая, родная земля!), увидела свои белые в красную полоску носочки, запачканные туфельки, свое сарпинковое платьице. Увидела прямо перед собой обитую войлоком дверь, с крест-накрест переплетенными дранками. Знакомая такая... «Да ведь это же мой дом, где бабушка! Боже, какая радость! Какое непередаваемое человеческое счастье в том, что можно топать этими быстрыми ножками! И эти руки опять со мной! Я могу ими двигать, делать, что хочу. Какое счастье!»

И Тата схватилась за ручку знакомой двери — она была холодная, а дверь — тяжелая (как приятно, Боже, чувствовать холод, тяжесть!).

Когда вбежала в дом, то сразу почувствовала, как тепло и уютно. В печке еще теплился огонек, а на столе догорала лампа.

А вот и бабушка! Она заснула по настоящему, склонив свою седую голову к ручке кресла и даже слегка похрапывая.

— Бабушка! Милая бабушка! — стала трясти старуху Тата.

Бабушка открыла глаза.

— Постреленок! Заговорила меня, и я задремала слегка. Спать пора! Иди в кровать, скорей!

— Не надо, бабушка: скорей. Не торопи меня! Я не буду больше торопиться, не буду больше спешить. Все в свое время. Не хочу я больше быть «Торопыжкой», я все буду потихоньку. бабушка. Хорошо?

— Ну, ладно, ладно уж, выдумщица, спи!

И пыхнула в стекло керосиновой лампы. В комнате сделалось темно, и легкий запах керосина стал стелиться по комнате, подводя последний штрих привычной домашней обстановке.

БОГАТ ТОТ, КТО НА ДОРОГЕ ЖИЗНИ ПОДБИРАЕТ СМЕШИНКИ.

Е. П.

Нянюшка

Небольшого роста, худощавая, всегда с платком на голове, аккуратно завязанным узлом под подбородком, нянюшка была у нас в доме хранительницей старых традиций и привычек. И когда она видела, что кто-нибудь из домашних сбивался в сторону от этих фамильных традиций, то всегда корила такого нарушителя до тех пор, пока, в конце концов, не наставляла на правильный путь.

Была нянюшка человеком очень набожным, не пропускала ни одной всенощной, ни одной обедни. Так как была она человеком неграмотным, для нее не существовало календарей, и все церковные события она высчитывала как то по-своему и никогда не ошибалась.

Но особенно строго она соблюдала посты и, конечно, больше всего чтила Великий пост, в течение которого она все семь недель только и питалась, что грибками да огурчиками. А в страстную седьмицу так и совсем почти отказывалась от принятия пищи. От этого всю страстную неделю к ней бывало не подступись: в эти дни от голоду она была злая-презлая.

В Рождественский же сочельник она, конечно, как полагалось, не ела до звезды. Но так как живот ей подводило здорово, то она только и делала, что выходила на улицу и высматривала первую звездочку (слово это она произносила мягко, выговаривая не «ё», а «е») и страшно боялась, как

бы, сохрани Бог, не наесться раньше времени. Но пропустить звездочку тоже было досадно. Поэтому, досконально исследовав небо и, не доверяя себе, она, измучившись вконец, обычно шла в кабинет к барину и оттуда даже решалась воспользоваться дьявольским аппаратом-телефоном и допросить самого старшего барина, заведующего метеорологической станцией, не взошла ли звезда. «Сидит этот барин там у себя на вышке, «псерваторья» называется, и все то ему с этой вышки видно, и обмануться насчет первой звезды он уж никак не может: уж больно ученый барин».

Барин же обычно из жалости к голодающей няньке тут же, не отходя от аппарата, объявлял, что звезда действительно взошла, — вот она тут, над самым окном. Облегченно вздохнув, нянюшка только после такого, научно обоснованного, подтверждения, перекрестившись, приступала к еде.

В большие праздники любила нянюшка послушать чтение «Жития Святых» и все ходила и приставала ко всем с просьбой почитать ей что-нибудь из «толстой книжки», пока, наконец, кто-нибудь не соглашался.

В обычные же дни любила она побалакать на духовные темы с соседским кучером Гурьяном. Человек он был богомольный; когда-то даже в монастыре служил и очень хорошо знал псалтырь. За это нянюшка уважала его непомерно и всегда с удовольствием с ним беседовала: и о священном писании вообще, и о том, какое там чему толкование, и когда придет время для светопреставления.

Для подобных божественных бесед нянюшка специально приглашала Гурьяна к себе чаю попить. Подкармливала его кой-чем из господского и вообще делала ему всякие поблажки: уж очень она его уважала за знания и ценила, как «божественного» человека. Она даже не просто называла его по имени, а величала по отчеству — таким уважением он у нее пользовался.

И вот однажды такая стряслась беда, что разом вся дружба нянюшки с кучером прахом пошла.

Случилось это разом и совершенно неожиданно. Может быть, невдумчивому человеку этот случай и не покажется достаточно значительным, чтобы из-за него стоило рвать многолетнюю дружбу, но кто хорошо знал нянюшку, понимал, почему она сразу и бесповоротно лишила Гурьяна своего благорасположения и господских пирогов.

А случилось это так.

Зашла как-то во двор чья-то корова и потоптала, видите ли, огород. Нянюшка, как увидела эту нарушительницу порядка, так сразу же и решила, что корова та была гурьяновская, потому что была она вся черная, а у Гурьяна, было бы известно, все коровы, как одна, были черные, без малейших отметин.

Огород, конечно, был хозяйский и, казалось, нянюшке особенно беспокоиться было нечего. Но нет: нянюшка была человеком порядка, да и хозяйское добро берегла пуще своего. Поэтому, вызвала она Гурьяна на допрос, но не дав человеку и слова молвить, сразу же напустилась на него. Причем, в возбуждении она не очень позаботилась о стиле своего языка, а обратилась к нему со следующими обыкновенными житейскими словами:

— Что это ты, старый свинопас, коров своих распустил?

Из уважения к нянюшке Гурьян, как всегда, стоял перед ней с обнаженной головой, но тут, как услышал «свинопаса», посмотрел это он на свою шапченку, неуверенно помял ее в руках, да вдруг как обозлится да обеими руками и нахлобучил ее на голову, а потом лихо тряхнул головой и грубо ответствовал:

— А ты чего, старая ведьма, врешь? Когда я коров своих распускал? Своих коров я, поди, знаю: не моя — та!

— Раз черная — чья ж, как не твоя? — не унималась нянюшка.

— Черная, да не совсем: у нее подпалины.

— Каки-таки подпалины, чучело гороховое? Сама видела: никаких подпалин, вся черная.

— Ан нет: с подпалинами! Я своих коров досконально знаю. Ты тоже с меня дурака не строй!

Спорили они, спорили, наконец, Гурьян предложил нянюшке привести свою корову и вымерить на месте следы, потому что, кроме подпалин, он также доказывал, что и следы-то больше, чем у его коров. Мерили, мерили — только больше огород потоптали. И в заключение, Гурьян нахально этак и объявил нянюшке:

— Да твоих же коров эти следы и есть!

Нянюшка же, хотя уже и видела свою ошибку, все же сдаваться не хотела.

— Ты, видно, совсем меня за дуру почитаешь, — ответила она.

Ругались они еще долго, а тем временем приведенная для суда корова тут же стояла и на глазах у всех со вкусом поедела огород. Как увидела это нянюшка, пуще прежнего взъелась на Гурьяна и выругала «псом». Гурьян в свою очередь обозвал ее «чертовкой».

Чуть было на этом и не расстались, да случилось так, что в это время хозяйский сынок со своим приятелем мимо проходил. Залюбовался он сценой, как на судном крыльце, подбоченившись, стояла нянюшка и внушительно грозила Гурьяну пальцем, сама в это время подыскивая для него еще какое-нибудь обидное слово. А Гурьян, окончательно потеряв весь свой благопристойный вид, какой обычно имел на божественных беседах у нянюшки на кухне, небрежно стоял теперь перед ней и пренепочтительнейше ругался.

Возвращались же двое вышеупомянутых молодцов с экскурсии. У одного из них за спиной фотографический аппарат висел.

— Давай, заснимем их! — мелькнула у хозяйского сынка озорная мысль.

— Давай!

Спрятались молодые люди в малинник, чтобы их не видно было, расставили аппарат, и только зажгли магний, как вдруг из-за угла дома выскочил громадный кот «Малышка»,

а за ним с метлой — дворник Михайло. Кот только-что ласточкино гнездо разорил, и Михайло решил кота за такую мерзость изничтожить. И только замахнулся он метлой, как магний вдруг вспыхнул.

— Ах! — вскрикнула нянюшка, крестясь: — Что бы это такое? Господи Исусе . . . Светопреставление!

Молодые же люди из малинника прямо в крапиву бросились и убежали. А через несколько дней, проявив пластинку и отпечатав карточку, торжественно преподнесли ее нянюшке.

Это было их тактической ошибкой.

Нянюшка долго внимательно рассматривала карточку, сердито жуя губы. Не могла она поверить, чтобы все это так и на самом деле было: и она, грозная такая стоит, речь держит, и Гурьян бороденку свою вперед выставил, словно бы насмехается, да к общему позору тут еще и Михайло с метлой откуда то выскочил, как будто тоже на нее, на няньку же, замахнулся . . . Господи! Прямо старых лет посрамление!

Очень сильное впечатление произвела на нянюшку карточка. Одна из некрасивых минут в ее жизни была запечатлена на веки веков. Без карточки она и не представляла себе, насколько вся сцена с Гурьяном была безобразна. Не предполагала также она, что будут какие-то свидетели этому. Возможно, что очень скоро она простила бы Гурьяну и все обидные слова и всю его непочтительность, проявленную в тот злосчастный день — если б только все это осталось между ними. Но по карточке выходило, что Гурьян, доказав, что его коровы в тот день вообще даже из стойла не выходили, выставил ее глупой не только пред господами (что полбеды), а и пред Михайлой, который оказался настолько гнусным, что потом на кухне перед всей дворней, держась за живот, рассказывал, как нянька ругалась с соседским кучером. Да тут еще и подтвердил, что самолично видел белые подпалины у той самой коровы, что огород попервоначалу ела. Ну, в общем, вконец унизил старуху. Это было слишком, и простить этого нянюшка не могла.

И с той поры вся ее дружба с Гурьяном пошла врозь. А когда случалось ей проходить мимо кучера, так даже и не взглянет, бывало, на него. Как мимо пустого места шла она, совсем не замечая его рябого, скуластого лица и неуклюжих, широко расставленных ног. Уж как ни старался обратить он на себя ее внимание: и покашливал, и покрякивал, и громко сморкался — ничего не помогало: пустое место и больше ничего!

На всю жизнь затаила нянюшка обиду против человека, который способствовал ее посрамлению. Даже в купальню идти после Гурьяна она не желала и требовала, чтобы он до нее не смел купаться. Такая была самолюбивая и злопамятная.

И так рухнула многолетняя зрелая дружба, построенная на благочестивых началах; легко разлетелась она в щепы, разбитая, фактически, ничтожным, но злым случаем.

Теткины путешествия

Жила у меня в доме тетка, Татьяна Никитишна, женщина 56 лет, рыхлая, дебелая и большая мечтательница.

Собственно говоря, теткой она мне приходилась со стороны жены, жене же она была не то, чтоб настоящей теткой, но была закадычной подругой ее матери. Татьяна Никитишна любила напомнить, какой хорошей, какой близкой была она подругой моей тещи (которую я никогда и в глаза не видел), и так часто она мне об этом говорила, что мне становилось даже скучно, и, в конце концов, я потерял всякое желание разбираться во всей сложности наших с ней отношений и просто махнул рукой: ладно — сойдет за тетку! Так оно и пошло: тетка и тетка...

Но хотя жила Татьяна Никитишна у нас и на особых основаниях, все же получала 11 рублей в месяц жалованья, которое она себе вытребовала потому-де, что деньги всякому нужны и вообще работать зря тоже никто не будет.

А она, действительно, что-то делала по дому; что именно — трудно было учесть, но главным образом следила за другими, чтобы никто без дела не сидел и, Боже упаси, грязи где-нибудь не оставил. Очень любила она чистоту, но особенно была пристрастна к посуде. Любила ее перемывать и по полкам расставлять. И, Боже сохрани, кастрюлю не туда поставить, где она изо дня в день, из года в год привыкла стоять! Такой нагоняй получишь!

Одним словом, вела она себя, совсем как настоящая родственница, не считая, конечно, положения с жалованьем. Об этом я ей даже как-то сказал:

— Невязка, — говорю, — какая-то тут: тетка ты, — говорю, — почти настоящая, и вдруг — на жалованьи.

— Никакая дура бесплатно работать не будет, — отрезала она в ответ.

Ну, ладно, думаю и опять махнул рукой.

Но сделал это, как потом выяснилось, напрасно.

Дело в том, что, как я упомянул, была Татьяна Никитишна большой мечтательницей. Ходит и мечтает... Посуду моет, а сама мечтает...

Ну и била же она этой посуды — невероятное количество! Дня не проходило, чтоб чего-нибудь не разбила. А не дай Бог к ней обратиться с чем-нибудь, когда она в руках держала что-нибудь бьющееся. Обязательно эту вещь выронит из рук. И во всем ты же сам и виноват окажешься: не говори под руку.

И вздумалось мне как-то подсчитать битую посуду, и насчитал я убытку на 12 рублей в месяц. Насчитал это и потом говорю Татьяне Никитишне:

— Вот, говорю, деньги ты больно любишь... И правильно, конечно, делаешь, потому только дурак их не любит. Но дело в том, что и я тоже, замечу тебе, из такой же породы, которая понимает цену деньгам. А вместе с тем, вот что получается: жалованья плачу я тебе 11 рублей в месяц, а посуды ты мне за этот срок набьешь на 12. Как тут быть, скажи? Что делать?

— А очень просто, что делать, — и глазом не моргнула Татьяна Никитишна, — значит надо мне этот недостающий рупь набавить к жалованью.

Почесал я в затылке и подумал: «У бабы наверняка, конечно, мозги в голове есть; если же они у нее набекрень — не ее в том вина». И стал платить ей 12 рублей в месяц.

Конечно, посуде это не помогло: била она ее по-прежнему на кругленькую сумму. Особенно досадно было, что била она

ее как-то беспорядочно: ото всех сервизов понемножку. Бывало, уж весь сервиз перебит, а какая-нибудь одна тарелка все живет и живет, как бесполезный, глаза намозоливший уродец в доме: все ждешь его смерти, а он только все растет и растет в ширину, и ничего ему не делается. Прямо хоть бери эту самую тарелку и об пол шлепай! Или же, например, останется одна-одинешенька чашка. Уж и забудешь, что был когда-то при ней и чайник, и сахарница, и блюдца. А она все не хочет порывать счеты с жизнью, все лезет на глаза своей никчемностью, настойчиво напоминая о своем жалком одиночестве. А тем временем, прямо на глазах начинал таять только что купленный новенький сервиз.

И стал я часто задумываться, и охватила меня вдруг такая грусть, что даже ударился я в сторону науки и стал присматриваться к тетке с научной точки зрения: почему это она такая несуразная и к посуде весьма пристрастная?

Ничего особенного не мог я подметить с внешней стороны. Хотел было доискаться внутренней причины, но мне, мужчине средней комплекции, оказалось это не под силу. Разве можно разгадать женщину в ее сложные 56 лет?

Не выдержал я наконец и пошел напрямик на объяснения.

— А скажи, говорю, Татьяна Никитишна. . .

Слова мои были прерваны звоном стекла, так как тетка в это время проходила мимо столика в гостиной и, обернувшись, задела нежную как юность китайскую вазочку.

— С чего это, — стараясь казаться спокойным, продолжал я, — ты так посуду бьешь?

— Из нутра это у меня идет, — глубокомысленно ответила Татьяна Никитишна, подбирая остатки бывшей вазочки.

— Я и сам так думал. . . А все же, хотя причина и глубоко внутреннего характера, не поведаешь ли мне по-дружески, в чем она заключается?

— От дум это. . . Потому что думаю все. . .

И тяжело этак вздохнула моя Татьяна Никитишна.

— Бедная, — говорю я ей тут: — Конечно, женщина ты с головой — есть над чем призадуматься, но все же зачем де-

лать это с тяжелыми для меня последствиями? По мне, конечно, думай, но я ведь от твоих дум, выходит, терплю материальные убытки.

— Не могу не думать, — тяжело вздымая свой пышный бюст, грустно ответила Татьяна Никитишна.

— Может я помочь чем могу?

— Может и можешь... — загадочно устремила она свой взгляд вдаль, за пределы нашей скромной гостиной. — В Соловки ехать мне надо помолиться, вот что!

— В Соловки... помолиться... Ну, а почему бы тебе и не съездить? — обрадовался я простому выходу из положения.

— Да куда ж? 36 рублей ведь стоит билет туда и обратно.

— Только-то? — воскликнул я и как мальчишка подпрыгнул на месте. — Достану я тебе 36 рублей. Завтра же пойдем выправлять билет.

— Ладно, Воробьев, — степенно ответила тетка. — Правильно делаешь. Как покойная мать твоей жены была моей подругой наипервейшей, — прихожусь я тебе более, чем родственницей, и грех было бы тебе меня не ублаготворить. А попутешествовать, конечно, всякому человеку когда-нибудь да надо ж...

И легкой походкой пошла она собирать свои тряпки.

На завтра, когда я пришел домой с билетом в Соловецкий монастырь, тетка уже в полной готовности сидела на узлах.

— Вот, — говорю я ей, — на тебе еще 10 рублей добавочно на расходы, чтобы жизнь тебе казалась прекрасной.

— Куда же это ты так много? — запротестовала она.

— И совсем это не много, — ответил я, — тебе так только спервоначалу кажется, а пораскинь мозгами да посчитай своих крестников, так и увидишь, что я прав: одному крестик купишь, другому гайтан, третьему чашку, четвертому маслица лампадного... Смотри, как бы еще не мало оказалось? 10 рублей-то?

Согласилась тетка. А я всю дорогу, пока ехали на вокзал, продолжал ее напутствовать:

— Съезди, помолись хорошенько, да не забудь и обратно в Москву вернуться.

— Не забуду, — говорит, — напрасно беспокоишься: на билете все прописано, что делать.

Посадил я, наконец, тетку на поезд.

— Езжай, Татьяна Никитишна, с Богом, к черту на рога!

Укатила моя тетка, а мы с женой ровно 30 дней благоденствовали. Я даже на радостях новый обеденный сервиз купил.

А как приехала Татьяна Никитишна домой, опять все пошло по-старому.

Когда от нового сервиза остались только две тарелочки, я не выдержал.

— Чего же тебе, Татьяна Никитишна, теперь не хватает? Съездила ты в Соловки, как хотела, помолилась и все такое... А посуду по-прежнему бьешь?

— А я, — говорит, — правда, благодаря твоим милостям, съездила хорошо, да только это все не то. Не в Соловки мне надо было ехать, а в Киево-Печерскую лавру. Вот что!

— В лавру... Ну, что же, — равнодушно процедил я, — ошибку можно поправить: в лавру, так в лавру...

— Как так? — встрепенулась тетка: — Да туда ж 62 рубля надо.

— Оно конечно... А что ж делать, раз надо ехать?

— Да это еще не все. Прошлый раз ты мне дал 10 рублей на расходы, так их мне не хватило, меж прочим. Действительно, одному крестнику пришлось купить крестик со святых мест, другому гайтан, третьему...

— Есть о чем говорить, — перебил я ее, — дам я тебе на этот раз четвертной, чтоб наверняка хватило.

Ошалела моя тетка. Долго не хотела верить, что несмотря на такие расходы, я все же разрешу ей ехать. И только когда справил билет и посадил на поезд, поверила, что не шутил я, а правду говорил.

Тем временем пришлось мне на три месяца по хлебным делам из Москвы выехать. Когда же я вернулся, тетка была

дома, и не успел я и до крыльца дойти, где с доброй улыбкой на лице стояла моя жена, как во всей своей дебелости предстала предо мной Татьяна Никитишна и так сказала:

— Слушай, Воробьев! Люди-то в Ерусалим едут, а я что ж?

— Ерусалим, говоришь? — недоверчиво покосился я на нее.

— Право слово — Ерусалим! Самое святое место!

— Собирай тряпки: завтра поедешь, — зло бросил я, и отстранив ее рыхлые формы, направился к жене.

— 340 рублей с обратным приездом, — вдогонку кричала мне тетка, но я только хитро усмехнулся: на муке я хорошо заработал.

— Завтра поедешь, собирайся, — упрямо повторил я, а сам подумал: ишь, как разобрало старуху! Чем дальше, тем больше. Ну, ничего: покачает ее хорошенько морем, так, может, отобьет охоту разъезжать по святым местам.

Я оказался прав. Из Иерусалима тетка вернулась ни жива, ни мертва.

— Все там красиво так, все замечательно, — рассказывала она по приезде: — Ущелий там всяких да оврагов — не оберешься! И гроб, конечно, Господень, и все... Да только вот море уж очень злобное: всю-то меня выпотрошило. Все то, что годами спокойно лежало у меня в нутре нетронутым — все перевернуло. И еще выворачивало, да уж больше ничего не было...

И с такой это грустью она рассказывала, что жаль мне стало похудевшую и осунувшуюся старуху.

— Куда же теперь-то ехать, Татьяна Никитишна? — ласково спросил я.

— Премного благодарны, — в пояс поклонилась она: — В богадельню бы мне, Воробьев. Вот что...

«Это что-то новое, — подумал я, не придавая большого значения ее словам: — отойдет, передумает».

Но Татьяна Никитишна никак не могла прийти в себя и такой-то выглядела усталой, такой задумчивой, что даже посуду стала ронять с каким-то оттенком грусти.

Послушал я, послушал, и решил наконец: «Нет, думаю, не та уж ты, Татьяна Никитишна, что была до Иерусалима. Верно, выбросила ты рыбам в море всю свою непоседливость и, действительно, опустело твое нутро».

А подумав так, проникнулся жалостью и через месяц отправил ее на покой в богадельню.

До самой революции спокойно жила она там. Молилась в благоустроенной церкви, слушала прекрасное пение хора, гуляла по тенистым аллеям сада. А гуляя, наверно, мечтала об Афоне, либо вспоминала Соловки.

Но вот грянула революция, и все пошло вверх дном.

Будучи уже в Крыму, я узнал случайно, что при разгрузке большевиками Москвы выслали мою Татьяну Никитишну куда-то в глухую провинцию. Помочь ей я тогда уже ничем не мог, к тому были отрезаны все пути и возможности.

А когда я, бежав из России, не по своей воле, начал путешествовать по всему земному шару, однажды, где-то в Чехословакии, судьба столкнула меня с земляком, и узнал я грустный конец Татьяны Никитишны; что не выдержала она новых условий жизни и приказала долго жить.

Больно сжалось мое сердце. Досадуя на свое бессилие, отправился я в полуразрушенную, заброшенную часовенку, которой я много горя уже поведал, и, упав на колени, помолился за упокой мятежной души Татьяны, отправившейся в новое и далекое путешествие, куда едут, не беря обратного билета.

Кошачья история

Николай Павлович Склерозов был врачем по внутренним болезням. Однажды случилось ему лечить одну дамочку, у которой была какая-то очень сложная болезнь. Лечил он дамочку долго и упорно, пока от ее сложной болезни и следа не осталось. Была же дамочка небогатая, платила за визиты скромно и поэтому, когда вылечилась, стала считать себя по гроб жизни обязанной доктору Склерозову.

В ожидании последнего его визита сидела она у себя в будуаре и размышляла, чем кроме денег можно было бы отблагодарить доктора за его успешное и добросовестное лечение. Сидела она в мягком удобном кресле, а на коленях у нее лежал смешной пестренький котенок, у которого вместо хвоста был какой-то помпон.

Доктор Склерозов вообще кошек терпеть не мог, но тут, как вошел к больной, сейчас же обратил внимание на смешного уродца, один взгляд на которого вызывал улыбку. Доктор так и сделал: взглянул и улыбнулся. А потом сказал:

— Какой забавный котенок!

Он, конечно, не предполагал, что эти его слова в глазах бесконечно благодарной перед ним дамочки покажутся весьма значительными, так как она взвешивала каждое его слово.

И не успел доктор в тот день домой прийти, как у него в квартире уже сидел посланный от барыни мальчик-подро-

сток с большущей корзиной в руках. Сознавая ответственность возложенного на него поручения, мальчик торжественно поставил корзину на стол и солидно объявил:

— От мамы.

«Пироги какие-нибудь, ватрушки»... — недовольно подумал доктор, открывая корзинку, и вдруг трах! — вылезает оттуда забавный котенок с помпоном вместо хвоста.

Отказаться от подарка, сделанного от чистого сердца, было невозможно, и котенка оставили.

Назвали его из-за уродливого хвоста «Зайкой». Котенок вырос и стал большим, солидным котом, домовитым и очень ленивым. Сиднем сидел он в квартире и ничего, кроме мягкого кресла, не признавал. Даже дачи он не любил и несколько раз из загородного дома пешком возвращался домой на свое насиженное место на диване в приемной доктора. Таким домоседом был этот «Зайка».

И лежа целыми днями на своей шелковой подушке, «Зайка», конечно, толстел не по дням, а по часам. Но надо сказать, что и домашние тоже очень его баловали, считались с его ленью и часто даже к еде носили его на руках, или же приносили блюдце на подушку. И в конце концов, кот перестал вставать даже и ради еды и через плечо весьма снисходительно поедал поданное ему. Если же ему не приносили поесть, то предпочитал остаться голодным, но не оставлял своей удобной подушки.

Постепенно и все пациенты доктора привыкли к «Зайке», безвылазно лежавшему на своем ложе в приемной. Новые же люди, приходившие к доктору и видевшие громадного кота, с римской развратностью возлежавшего на шелковой подушке, сначала удивлялись, а потом умилялись его размером и делали веселые лица.

А одна какая-то пожилая женщина, увидев такого грузного и важного кота, из почтения даже обратилась к нему на «вы»:

— Ах, какой же вы важный, батюшка!

Это так всех рассмешило и так всем понравилось, что с тех пор кота иначе и не называли, как «Батюшкой», тем более, что на «Зайку» он давно уже перестал походить.

И вот пришли однажды к доктору какие-то две тихие старушки, которых доктор по их бедности лечил бесплатно. Пришли они не в приемное время, с заднего крыльца, из страха обеспокоить «самого». Пришли и боязливо встали в сторонке. А в доме суетня, беготня...

— Что случилось-то? — решилась спросить одна из старушек.

— Да несчастье у нас , — рассеянно ответила жена доктора: — «Батюшка» сбежал.

— Что вы! Что вы! Из которой же это церкви? — заинтересованно спросила другая старушка.

— Да не из церкви, а ушел со своей подушки наш кот, «Батюшкой» прозывался.

И тут же любознательным старушкам объяснили, что это был всеобщий любимец, и что все обеспокоены его уходом, потому что он никогда не оставлял своего ложа. Неспроста это он ушел: что-нибудь случилось неладное.

— Не иначе, как подыхать ушел ваш «Батюшка». Тьфу, тьфу, что за греховное прозвище! — стали отплевываться старушки, но все же приняли большое участие в семейном горе и даже выходили в сад и обыскивали кусты.

Но «Батюшка» как в воду канул.

Все в доме, кроме доктора, горько переживали его исчезновение. Хотя и никчемный был кот, но привычка видеть его на обычном месте в приемной, пожалуй, перешла в привязанность.

Старушки же, которые случайно оказались свидетельницами неподдельного домашнего горя, никому ничего не говоря, тихонько решили беде этой помочь. И однажды, придя к доктору на прием, принесли с собой какой-то сверток.

— Уж не откажите... Чем можем... — пропели они дуэтом и с поклонами осторожненько положили сверток на стол

и ушли так же тихо и неслышно, как мягки и тихи были их, забитые судьбой, характеры.

Доктор сначала не обратил внимания на сверток.

«Всегда эти старухи чего-нибудь нанесут!» — мельком подумал он, продолжая прием.

Лежит сверток, лежит. . . И вдруг начал шевелиться. А потом, подпрыгнув, неожиданно упал на пол.

— Кошка! — с отвращением воскликнул доктор, отрываясь от слуховой трубки и смотря на мохнатую кошачью мордочку с расширенными от испуга глазами выглядывающую из пакета. — Ну, что за подарок! Это же черт знает что такое! Кошка! А, черт! — чертыхался доктор. — Ну, хоть бы зайца или кролика принесли, а то — кошку. Только избавились от одной — другую пожалуйте.

Котенок тем временем окончательно вылез из пакета и стал добродушно посматривать кругом.

На необычайное происшествие прибежала в приемную жена доктора и даже кухарка.

Все стояли и рассматривали породистого белого котенка со смешной черной полоской как раз посередине носа.

— Ха-ха! Да она прехорошенькая! — заливалась жена доктора. — Как же мы ее назовем? — ни к кому не обращаясь, спросила она, поглаживая смешного зверька.

— Как хотите, если вообще нельзя его выбросить, — не унимался доктор.

— Что ты! Что ты! Обидятся.

— Машка! — жуя губы, деловито объявила кухарка, серьезно всматриваясь во взъерошенную мордочку котенка. — Машка и есть, — окончательно убедилась она и ушла в кухню.

— Машка? — сомнамбулистически повторила жена доктора, оставшись одна в комнате (доктор, сердито хлопнув дверью, ушел). — Ну, нет, зачем же так грубо, простонародно.

Муся. . Ну, да: Муся! Мусенька! — позвала она котенка, — Мусь. . .

Через несколько дней Муся пообвыкла, подкормилась и завладела «Батюшковой» подушкой.

И как-то раз за обедом доктор, посмотрев на специальный у стола стул, где сидела Муся с распушенной шерстью и надменно поднятым носиком, со смешной черной полоской на нем, засмеялся и сказал жене:

— Ну и рожа! Муся! . . Тоже ведь придумали! Она ведь, знаешь, на кого похожа? На Мусю Попову.

И его глазам представилось надменное, со вздернутым носиком лицо жены дивизионного генерала.

И так это прозвище прицепилось к кошке, что с тех пор так и стала она называться «Мусь-Поповой».

Наконец, даже доктор смирился, и только каждый раз, когда видел ее, разражался смехом и как-то загадочно ронял:

— Н-да. . . Р-рожа. . .

Обласканная кошка стала расти, шириться и, в конце концов, зажила обычной кошачьей жизнью кошки-барыни. Пообвыкнув, она сделалась почти такой же важной, каким был «Батюшка», и кухарка уже не смела себе позволить фамильярного с ней обращения, и хотя за глаза по-прежнему называла «Машкой», в глаза же вежливо титуловала «генеральшей». И покупая для нее печенку, так и заявляла лавочнику:

— Для генеральши.

Так что весь город знал, что у доктора Склерозова в доме поселилась какая-то важная генеральша, которая кроме печенки ничего кушать не желает, спит на шелку и вообще делать ничего не делает.

Доктору невозможно было показаться в обществе — за его спиной сейчас же начинали шептаться; и с сожалением посматривали на его веселую, хорошенькую жену, которой приходилось переносить все увлечения мужа. В городе гово-

рили: «Бедняжка! Ее вывозит только ее веселый, беззаботный характер. А он... Вся его внешность выдает его скверные наклонности. У него гарем! Говорят, что он даже старухами не брезгует».

Практика доктора Склерозова стала сильно падать: уважающие себя дамы не считали для себя более возможным пользоваться услугами этого «сердцееда».

Случай в провинции

Странный случай произошел однажды в небольшом городе на юге России.

Жил там некий священник, отцом Сергием звали. Очень он набожный был, по призванию в священники пошел. Образованности большой, правда, не имел, зато больно любил газеты читать: пока до подписи издателя не дочитает — прямо не оторвешь его, бывало, от газеты.

И вот случилось так, что читает о. Сергий газету, да вдруг — хлоп себя по лбу.

— Матушка, — кричит, — ведь наш доктор Львов в Крым поехал?

— В Крым, — ответствует матушка.

— И звать доктора на «Н»?

— Николаем зовут; что правда, то правда.

— Да ведь он же скоропостижно помер! Смотри: в газете прописано.

— Ах, ах! — ответствует матушка. — А чего же вдова-то? Что Марианила Гавриловна думает? Утресь ее встретила, а она — то се, а о покойнике ни слова. Ведь панихидку надо бы отслужить.

— Может она газет не читает? Надо пойти и все ей подробно рассказать. Как же так — не знать? Да и с панихидкой вдову поторопить.

Оделся о. Сергий в черную рясу, захватил с собой газету и пошел к Марианиле Гавриловне.

Женщины, известное дело, бестолковая порода: ей говорят — помер, мол, ваш супруг, а она не верит. «Как, — говорит, — помер? Он мне ничего не писал».

— А когда ж ему писать, коли он скоропостижно?

— Что верно, то верно, но все-таки я телеграмму, — говорит, — в Феодосию пошлю.

— Шлите, коли денег не жаль, а только вот в газете четко черным по белому написано, что доктор Н. Львов, приехав в Феодосию, скоропостижно скончался.

Но упорствует недоверчивая вдова: с телеграммой, говорит, вернее будет, мало ли чего газеты не набрешут! Ну, полное невежество! Поди вот, с ней разговаривай!

А на другой день сама же пришла к о. Сергию.

— Встречайте, — говорит, — вдову неутешную: действительно доктор Н. Львов скончался в Феодосии, так и ответили мне. Тело только прислать отказали: ввиду скоропостижности резать, видите ли, его будут.

И тут же вдова понихидку заказала.

Почти весь город собрался на панихиду. Все хорошо знали доктора и только удивлялись скоропостижности его смерти: как будто всегда здоров был он, никогда ни на что не жаловался, — да видно все в руках Господних: захотел, и не стало человека.

В течение недели каждый раз за утреней поминали новопреставленного раба Божия Николая, и каждый раз вдова, Марианила Гавриловна, проливала слезу-две. А о. Сергий все ее утешает:

— Не плачьте, Марианила Гавриловна — все под Богом ходим, смотришь — завтра, может, и вы помрете.

И вот однажды идет это о. Сергий по главной улице, остановился зачем-то у витрины и вдруг слышит, знакомый голос его окликает:

— Как поживаете, отец Сергий?

Оглянулся о. Сергий, да так и обмер: перед ним стоял покойный доктор Львов. Струхнул о. Сергий порядком, все поджилки у него затряслись, и слова вымолвить не может.

А покойник-то снял шляпу и этак вежливенько повторяет:

— Как поживаете, говорю?

И неживыми глазами уставился на ошеломленного отца Сергия.

Смотрит о. Сергий на Львова, а Львов на о. Сергия — и оба не двигаются. Да только как вдруг о. Сергий опомнится и давай креститься и «Да воскреснет Бог и расточатся врази Его» читать. А призрак не исчезает: как стал, так и стоит с распяленными руками и круглыми остановившимися глазами. И такая вдруг о. Сергия жуть от этого взгляда взяла, что не выдержал он, подобрал рясу, да и давай Бог ноги.

А на углу, как водится, городовой стоял. Как увидел городовой, что священник по главной улице средь бела дня во всю прыть лупит, дал свисток, да вдогонку пустился.

А о. Сергий прямо к школе бежит. Волосы растрепались, лицо, что свекла... Пока до школы добежал, за ним уже четверо городовых, да толпа зевак гнались. Всем, конечно, интересно знать, почему это батюшка так прытко бежит. Да больно уж здоров был о. Сергий бегать: никак не догнать!

Прибежал в школу и кричит сторожу:

— Запирай скорей двери, Семен: покойники по городу ходят!

— Как так?

— Да покойный доктор Львов.

— Да он уж тут был, — спокойно отвечает сторож. — По мне, грит, панихиды служили и даже сорокоусты там всякие, а я, грит, и не умирал вовсе. Не знаю, правду говорит, аль врет, только, грит, умер быдто в Феодосии какой-то другой доктор Львов, да только никак не он. Тот из Тулы быдто был, а этот — совсем даже наоборот. Да звали того Никитой, а этого и по сей час Николаем зовут — вот и вся разница.

Марианиле Гавриловне, грит, долго доказывал, что это простая ошибка: поверила! Поверьте и вы, отец Сергий: смотрите, на вас лица нет.

Сел о. Сергий на табурет в передней, обтер лицо клетчатым платком в поларшина размером и с облегчением проговорил:

— Воистину велика премудрость Божия! Ну, слава Творцу — жив остался Николай Степанович, дай Бог ему здоровья! Завтра заздравный отслужить придется. . . Да простит нас Господь!

Набожный был о. Сергий, по убеждению во священники пошел.

Модистка

— Здравствуйте, здравствуйте, красавица моя, королева заморская! Принесла я вам платьице: готово уже, принцесса моя из царства сказочного. Конечно, готово. Для вас да не постараться. И должна вам сказать, что и платье же получилось — одно загляденье! Не платье, а сказка. Впору самой королеве английцкой носить. Если б не сама шила, так удивлению предалась бы перед изяществом и вкусом. Трудно поверить, что красота такая — дело рук человеческих. Ну, говорю — сказка, да и только! Но и для достойной тоже модели создана эта красота: фигурка-то у вас какая божественная. И бедра, и талия, да и все остальное — такое крепенькое да ровненькое, и все на своем месте, и все в меру. А бюстом своим, скажу без лести, любую шестнадцатилетнюю неразвитуху за пояс заткнете. А стройность-то, стройность стана какова! И такая-то во всем пропорция, — ну, прямо, как у холливудской звезды. Диву даешься, как сохранились вы. Дай Бог вам здоровья да жениха хорошего да богатого и с качествами положительными, интеллигентными. Ну а на платьице, красавица моя, налюбоваться нельзя. А цвет-то, цвет-то какой! Бирюза персидская. Прямо к глазам вашим лазоревым. Целовать их, не нацеловать милому вашему. Суженый-то как увидит вас в этом платье, так в момент голову и потеряет. Судьбу вам в этом платье найти, не иначе. Без примерочек обойдемся, мадамочка. Не нужны они нам.

С такой-то ровненькой да гладенькой фигуркой и примерять нечего: все на виду. Да и модистка я тоже, без самохвальства скажу, знающая. Мне только взглянуть — и я уж знаю, где что и как. Будьте покойны. Как вылитая будете, солнце вы мое ясное. В полной форме. Не зря всю ночку глаз не сомкнула. Для вас постараться хотелось. Давайте-ка наденем поскорей, сгораю от нетерпения. Ах, фигурка-то, фигурка какая... Косо по талии? Да где же это косо? Да как же это может быть, чтоб косо? Глазомеру у вас, мадамочка, я вижу, нет. А у меня глаз — алмаз. Ничего не косо, уж поверьте. Я как отрежу — вернее, чем по сантиметру. Как по линейке! Прямо как перед Богом. Хотите проверить? Не хотите. Ну, как угодно. А только у меня все точь-в-точь. А почему косо... Не иначе, как одно плечо у вас ниже другого. Бывает это. Одной я шила, — так у нее не то, что плечо, а и... Ну, что ж, что не знали раньше. Жили-жили — не знали, а вот довелось — и узнали. Лучше поздно, чем никогда, как говорится. Конечно, выпустить я с одного краю могу для вашего удовольствия, да только не моя в том вина, что плечо-то у вас подгуляло. Как говорите? Один бок длиннее другого? Вот уж, что неправда, то неправда. Перед чем угодно поклясться готова — неправда! Вымеряла все до последнего — все было правильно, а вот как на вас надела, так и неправильно оказалось. Эге-ге-ге, милая вы моя! Вижу я теперь, что бедро-то у вас правое того... Сердечная вы моя! Жаль мне вас. Левое — округлое, а правое, извините, плосковато. Операция что ли какая была? Вы уж признайтесь. От модистки ничего нельзя скрывать: как на духу. Что хорошо, то хорошо, а что с изъяном, уж, простите, так прямо и скажу. Потому и отвисает справа. А искусство мое безапелляционное. Никакой ошибки ни в чем нету. Тянет подмышкой? Да что ж это такое? И тут нехорошо, и там нехорошо! Что за история с категорией? Не может быть, чтоб тянуло: все вымерено, как в аптеке. Глаз у меня наметанный, верный. Как на исповеди говорю. Ошиблась, говорите? Да как у вас язык-то повернулся сказать этакое? Говорю: мерено-перемерено. А

это у вас одна рука немного толще другой. Как не может быть? Что я вру, что ли? Может вы родились такой, потому и не замечали. Сроднились со своим недостатком. Морщит? Где морщит? Что морщит? Милая вы моя, милая! Да вы вся кривая, как посмотреть, вся несуразная — вот что! Ни одной, что называется линии в вас нет правильной — все перекошено. Может жизнь вас так искривила, а может от роду такая — почем я знаю. Да только не завидую я вам никак. Грубая я? Да и сами-то вы не больно из деликатных: такие несуразные вещи мне, художнику, говорить. Снимайте-ка, снимайте, платье-то! Вот хорошо — и ножкой еще топнула. Скажите! За то, что Бог кривой создал — недовольны. Ничего я переделывать не стану. Платье божественное, а что вы сами, что называется... Отдайте, отдайте мне его. Отдайте, говорю, платье — порвете. За материал заплатить? А за труды мои кто платить станет? Тьфу! Зачем это вы мне прямо в лицо бросаете? Оскорбление это. Попомню я вам! Жаловаться? Поди, как испугалась! Идите хоть сейчас всем соседям да знакомым рассказывайте — себя только и опозорите: все и узнают, что вы кривобокая, да косолапая. Мать вас второпях родила, отец зачал в пьяном виде. Ну и уйду! Не видала я таких! Подумаешь: аристокра-а-атка! Ха! Уродка ты бесстыжая, — вот ты кто, а не аристократка! Старуха разнесчастная! Ай, караул! Грабят! Бьют! Кара-ул-ул...

Любовь садовника

— Ну, хорошо: когда же ты, наконец, выйдешь за меня замуж?

Держа в руках громадные садовые ножницы, Джузепе с угрожающим видом подошел ко мне.

— Мне это, наконец, надоело, — продолжал он: — который раз я тебя об этом спрашиваю, а ты все отнекиваешься.

Его оливковые глаза сердито остановились на моих руках, быстро бегавших взад и вперед по стиральной доске с хозяйским шелковым бельем.

— Я? Замуж? Да я вовсе и не собираюсь выходить замуж, — отвечала я, стараясь не глядеть на его бронзовую от солнца шею и круглое, очень румяное, со следами не то земли, не то недавнего завтрака, лицо.

— Как так не собираешься? А как же без мужчины то ты жить будешь? — искренне удивился он.

— Ну, уж как-нибудь . . .

— Опять ты финтишь, — рассердился Джузеппе, блеснув оливами своих глаз: — Не ломайся, выходи за меня и никаких! Все равно лучше никого не найдешь.

Сердце у меня сжалось от этих грубых неприкрыто- безнадежных слов.

Поняв мое молчание в свою пользу, Джузеппе развязно облокотился на цинковую раковину.

— Выйдешь за меня — не будешь больше работать горничной . . . — многообещающим шепотом захрипел он мне в ухо: — Это, конечно, хорошо, что ты такая работящая, деньги зарабатываешь. Но когда ты станешь моей женой, тебе и без того будет много работы в моем доме. Мне это будет стоить те же деньги.

Рассеянно слушала я болтовню грязного итальянца, а сама думала о своей горькой эмигрантской доле; о том, что судьба повернулась ко мне спиной, и что к осени я, пожалуй, не смогу скопить небольшой суммы, чтобы поступить в университет.

— Да, ты, дура, стирать не умеешь, — возвысив голос, вдруг прервал Джузеппе мои мысли и, оттолкнув локтем, занял мое место у раковины.

Быстро загребая сильными короткими пальцами тонкое белье, он ловко забегал руками по доске. Нежный, податливый шелк под его жутко-энергичными пальцами болезненно извивался, как в эпилептическом припадке, то бессильно вытягиваясь ровной лентой, то бесследно исчезая в красном кулаке. Размеренность и точность движений были настолько поразительны, что я невольно залюбовалась.

— Вот еще чего недоставало! — вдруг резко шлепнул Джузеппе кружевной сорочкой об доску, и грязные мыльные брызги полетели мне на платье, на лицо: — Ты будешь вот так стоять, а я буду за тебя работать! Как бы не так! Стирай сама! Вас, баб, тоже баловать нечего: вы всегда готовы сесть мужчине на шею. Валяй, валяй! Чего рот то на меня разинула? Ловчить нечего!

— У вас так это замечательно красиво получалось . . .

— Ха-ха-ха! — раскатисто залился Джузеппе, приседая к самому полу от комплимента: — Красиво, говоришь? Ха-ха! А я и не так еще умею. Я . . . Ты вот что, — вытерев мокрые руки об штаны, продолжал он серьезным баском: — выходи за меня, а я тебя не то, что стирке, я тебя всему научу. Ты — баба неплохая в общем, да и я тоже хороший человек. У

меня свой дом есть... И зачем тебе стирать чужое белье? Выйдешь за меня — мое будешь стирать.

— А у вас много бывает грязного белья? — оглядывая его упитанную фигуру, безразлично спросила я для поддержания разговора.

— Еще бы! — хвастливо дернул он подбородком, с которого еще не стерлись воспоминания о завтраке: — Ты вот что: к Рождеству дай мне окончательный ответ, выходишь за меня или нет. Один месяц я уж так и быть подожду. Правда, я хотел бы жениться сейчас, но для тебя я, так уж и быть, подожду. Ты, я вижу, очень застенчивая, боишься открыть сразу свое сердце. Но долго я ждать тоже не намерен: женщин надо брать нахрапом — они никогда не знают, что на самом деле хотят... Итак, помни: или на Рождество, или никогда! Это — последний срок. Иначе я женюсь на другой. Вам, дурам, только дай поблажку, потом всю жизнь будешь каяться, — ворчал он себе под нос, уходя работать в сад.

Но и после ультиматума Джузеппе не оставил своих приставаний и в полном смысле слова ходил по пятам, когда мне приходилось по обязанности идти в сад, чтобы нарезать цветов в вазы.

— Ну, как? Ты еще не надумала дать мне согласие? — хрипучим баском говорил он за моей спиной, чуть не наступая мне на пятки, услужливо обрезая георгины и левкои.

— Я же сказала, что замуж не собираюсь, — чуть не в двадцатый раз повторяла я.

— Ну, ты это просто из кокетства так говоришь, я то это прекрасно понимаю. Но только я думаю, что уже довольно этого кокетства, теперь нам нужно переходить к делу. Я, конечно, как обещал, до Рождества подожду. Но в общем-то нет надобности ждать, если можно пожениться теперь.

— Не выйду я за вас замуж! Нет, нет и нет! — истерично выкрикнула я.

— Вон ты какая горячая! Мне это нравится. Но к Новому Году я так или иначе женюсь. Не на тебе, так на другой. Я

больше ждать не могу. Конечно, я очень хочу жениться на тебе, — любезно уступил он, — но если ты будешь продолжать ломаться, я найду себе другую.

— Скорее находите!

— Ты напрасно так заигрываешь со мной. Если б я не проследил тебя в твой отпускной день, так мог бы подумать, что у тебя есть друг. Но я точно знаю, что никаких ухажеров у тебя нет, и ты просто из кокетства водишь меня за нос.

— Ах, вы еще смеете следить за мной! — гневно вскрикнула я.

— А как же? Должен же я знать, как ведет себя моя будущая жена, — с наивной простотой возразил он.

Мой гнев разом улетучился, и я громко расхохоталась.

— Ну, вот: у тебя все только шутки да смешки, а ты совсем не хочешь призадуматься над тем, что мне совершенно необходимо жениться.

— Дурак! Оболтус! Простофиля! — выпалила я все русские ругательства, какие только пришли в голову и, забрав в обе руки нарезанные цветы, бросилась бежать из сада.

— Вот чертовка! — страстно зашипел он мне вслед и, в миг догнав, игриво обрезал свирепыми садовыми ножницами болтающиеся сзади тугие кончики накрахмаленного передника.

С полными руками цветов я только смогла злобно прошипеть. «Негодяй!» А он, сверкнув своими южными глазами, пригрозил своей страшной гильотиной:

— В следующий раз я тебе косу так отрежу. Смотри: жду только до Рождества.

Когда приблизилось Рождество, я искренне боялась выходить в сад: изобьет он меня где-нибудь в аллее большого господского сада. Но все же в один прекрасный день пришлось мне держать пред ним ответ.

— Много теряешь, — загадочно обронил он, выслушав мой повторный отказ.

И на другой же день взял недельный отпуск.

Я была безумно рада не видеть его лоснящегося от жира и загара лица хотя бы в течение недели.

Когда же он вернулся, то показался мне еще толще, как будто бы он нарочно откармливал себя, приготавливая свою тушу к свадебному ужину.

С лицом красным и сияющим, как раскаленная медная кастрюля, вошел он в хозяйский дом, ведя за собой такую же как и сам, маленькую и толстую, веснущатую женщину. Он прошел прямо к хозяйке.

— Моя жена, — гордо объявил он, выталкивая вперед неуклюжее, боязливое существо. С сознанием собственника он толкал ее то вправо, то влево, по-итальянски подсказывая, что говорить, что делать. Проходя мимо меня, он едва удостоил взглядом, небрежно бросив: «Алло«!

Он достиг своего: к Новому Году у него была жена. Я для него больше не существовала.

Соленые арбузы

Моя жизнь сложилась так, что со своими бабушками я потеряла связь вскоре после «Великой, бескровной», и в памяти у меня не сохранились их необыкновенные кулинарные рецепты. Но зато я очень хорошо помню (уже в «безбабушечье время») обилие в нашем доме всяких солений и печений. Зимний стол в особенности изобиловал солеными и мочеными овощами и фруктами. Капуста кочаная и шинкованная; моченые яблоки и брусника; соленые огурцы, помидоры, арбузы.

В памяти особенно запечатлелись соленые арбузы, может быть потому, что с той золотой поры мне никогда больше не приходилось вкушать этого деликатеса. А когда я оказалась в Америке, было особенно приятно тревожить себя воспоминанием о нем. И было для меня удивительным, что в такой культурной и изобретательной стране, как США, совсем не имеют представления, что этот плод можно есть в соленом виде.

Установив этот факт, я при случае любила хвастнуть перед американцами изысканным русским блюдом. И за это свое хвастовство я однажды была очень и очень наказана.

Особа, которая ввела меня во все нижеописанные неприятности, была уже немолода и даже, пожалуй, ее можно было б назвать старухой. Однажды, убедившись в ее полном кулинарном невежестве, я и расхвасталась о соленых арбу-

зах, которые мы, бывало, ели чуть ли не каждый день в зимнее время, у нас в России.

Хотя то было и очень давно, но я отчетливо сохранила в памяти кислосладкий вкус этих нежно-оранжевых, хрустящих ломтиков. И в фатальном для меня разговоре со своей пресловутой старухой-американкой я, вероятно, от увлечения хорошо сумела передать весь аромат, всю прелесть вкусовых ощущений от этого деликатеса. С гастрономно-загоревшимися глазами старуха вцепилась в мой рукав и не отпускала меня до тех пор, пока я не пообещала дать рецепт соленых арбузов.

Обещать было легко, труднее было обещание выполнить. Жила я в те времена в небольшом городке и русских газет, пестревших объявлениями о Молоховцах, подарках молодым хозяйкам, я не получала. А соленые арбузы я, по совести говоря, видела лишь уже в готовом виде только на обеденном столе нашей уютной столовой.

Думая напугать свою американку, чтобы у нее пропала охота ко всей этой затее, я сказала, что для процедуры соления арбузов нужен такой редкий инвентарь, как бочонок. Но старуха была дошлая — за бочонком дело не стало. И в один прекрасный день она, весело подмигнув, повела меня к заднему крыльцу своего дома, и там моим глазам предстал изящный маленький бочонок. До этого он служил вместилищем какому-то виноградному вину и поэтому был весь яркорумяным внутри.

«Хорошо ли это? — взяло меня сомнение, но вслух я авторитетно заявила:

— Бочонок надо выпарить.

Заметив удивление на лице моей старухи, я для усиления впечатления добавила:

— Выпаривать надо листьями смородины.

Лицо у старухи удлинилось против нормального, но сохраняя свое американское достоинство, она спокойно спросила:

— А нельзя ли обойтись клубникой или, в крайнем случае, ежевикой?

— Нет, только смородиной. Так полагается по рецепту, — отпарировала я и бросилась к поваренной книге, которую мне накануне удалось достать у знакомой.

В рецепте говорилось, что арбузы обычно солят в капусте. А саму капусту, до того, надо недели полторы держать под навесом, чтобы из нее испарилась лишняя вода. После этого капусту крошат сечкой в корыте, укладывая слоями толщиной в четверть аршина.

«Сколько же это будет на ярды? — старалась я вычислить: — Для моей американки обязательно надо все перевести на понятные для нее меры. Шестью шесть — тридцать шесть»...

Но перед глазами вдруг встал изящный маленький бочонок из-под вина, что стоял у заднего крыльца, и я похолодела: сколько же арбузов можно положить в такой бочонок, если на дне должна еще на четверть аршина лежать капуста? А коварная поваренная книга дальше гласила:

«В продолжении двух недель следует каждодневно протыкать капусту до самого дна дубовой или березовой палкой».

Ну, предположим, что дошлая старуха достанет дубовую палку и будет каждодневно ковырять капусту, а потом?

Читаю дальше:

«Покрыть чистыми полотенцами. Положить кружок (кружок чего? Как это сказать по-английски?) и небольшой гнет».

Какое прекрасное, поэтическое слово «гнет». До сих пор я знала только гнет на душе, а тут гнет в кадушке с капустой.

«Кадка должна быть снаружи засмолена и вынесена в холодное место».

Но где же арбузы? О них ведь ничего пока не сказано. Пока только идет, так сказать, подготовительная стадия, капустная, а арбузы? .. Ах, вот есть тут две строчки и о них: «в выпаренную душистыми травами кадочку (как ласково называется эта паршивая кадка, с которой столько возни!) между капустой кладутся антоновские яблоки, дыни, арбузы» . . . Только и всего! Да еще: «До морозов соленые арбузы

должны стоять во льду, а по наступлении морозов кадочку перенести в погреб. Кружок содержать в чистоте».

Значит, кроме капусты для арбузов нужны еще и морозы. Это в солнечной то Калифорнии! И что значит «держать бочонок во льду»? Не в рефрижератор же его затискивать! Меня ударило в пот. Да тут и поседеть можно — не то что. Задала же мне старуха задачу!

— Бочонок я хорошо с хлором вымыла, — радостно сообщила мне на другой день старуха.

В этот момент у меня был благородный порыв броситься на шею этой жизнерадостной, любящей покушать американке, разрыдаться и откровенно признаться, что вся затея с солением арбузов — чистый блеф; что я в своей жизни вообще ничего кроме супа не солила, а соленые арбузы видела только на красиво поданном блюде в нашей столовой, там, далеко за океаном... Но я вспомнила о винном бочонке на дворе, которому накануне была задана гигиеническая баня, и у меня не повернулся язык сделать это разоблачение.

А на другой день кухонный стол украсился громадными калифорнийскими арбузами, по поларшина каждый. Я не могла оторвать от них глаз, и в душе проклинала плодоносную почву Калифорнии, выращивающую такие крупные плоды. Ведь в поваренной книге говорится, что для соления как раз выбираются недоспелые, малого размера арбузы. Сбежать, что ли, пока я еще не окончательно погрязла в этой истории? Также хорошо было б провалиться в тартарары.

Но старуха уже стояла рядом и ласково обнимала меня за плечи.

— Я выбрала самые спелые, — сладко шептала она, — примеряла к бочке: жаль, что больше двух арбузов не влезет.

«А как же капуста? Куда же капусту класть?» — кричало у меня внутри, вероятно то была — совесть. «Впрочем, все это — ерунда! — заговорил разум, отшвыривая в сторону совесть: — Раз не влезет, обойдемся без капусты».

Сообща мы приготовили рассол и стали вдвоем запихивать арбузы в бочонок. Но как ни старались, второй арбуз положительно не желал поместиться в миниатюрном бочонке.

Может быть, их можно разрезать? — пришло в голову старухе.

— Гениальная идея! Режьте их на куски: скорее просолятся.

Разрезали, с трудом запихали, залили соленой водой, наглухо забили крышкой. Солитесь, проклятые арбузы!

А что все это получалось не по рецепту поваренной книжки, так ведь то относилось к России, а здесь, в Америке, все может быть по другому.

В поваренную книжку я больше не заглядывала.

А ночью мне снилось желто-розовое мясо арбузов, нежно покоящееся на хрустящей капусте, мелко нашинкованной загадочной «тяпкой» в деревянном русском корыте. Все это было покрыто вышитыми русскими полотенцами, а кружок из гнета стоял рядом и весело тренькал на балалайке. «Гнет», такое красиво-звучащее слово, легло мне прямо на сердце.

А на утро старуха, захлебываясь от радости, сообщила, что соседский дворник по ее просьбе перенес бочонок с арбузами в подвал.

— Там сухо и нет сквозняков, — добавила она.

Я сошла в подвал. Сквозняка там, действительно, неоткуда было ждать: светлый, теплый — он свободно мог бы служить жилищем для скромной семьи. Злосчастный же бочонок, ярко освещенный веселым осенним солнышком, по воле злой судьбы пристроился у самой печи центрального отопления.

Я остановилась в раздумьи. «До наступления морозов, — как в тумане пронеслись предо мной чудные строчки из поваренной книжки, — держать кадушку» . . . К чорту! Будь, что будет!

Мы обе, старуха и я, каждый день ходили в подвал, сначала вместе, потом я старалась избегать ее и ходила одна. Бочонок все стоял на своем месте.

— А как скоро, вы думаете, мы с вами будем есть соленые арбузы? — глотая слюну, сладострастно спрашивала меня старуха через несколько дней. Я глубокомысленно поджимала губы. В России, при морозах и прочих неблагоприятных климатических условиях, этот процесс тянется, положим, месяц. Для Калифорнии же все идет ускоренным темпом. Недельку, что ли, скинуть? А, скинем две: жалко, что ли?

Итак, мы порешили через две недели вскрыть дело рук своих. На стенном календаре красным карандашом аккуратно было отмечено число для вскрытия.

Старуха была на седьмом небе. Со мной была так ласкова, так внимательна, что мне даже неловко становилось. А впрочем, лишь бы только просолились арбузы.

Через неделю бочонок стал как-то странно себя вести: через щели стала просачиваться вода.

«Надо было б его просмолить, как сказано в книжке, — тогда воде некуда было б деться». Я пыталась объяснить старухе, что значит «просмолить» — ничего не вышло, не поняла, только как-то косо на меня посмотрела, очевидно в первый раз усомнившись в моих кулинарных знаниях.

Еще через несколько дней от бочонка стало нехорошо пахнуть. Просто нехорошо. Совсем, как духами из десятицентового магазина.

А еще через день, когда «дух» в подвале усилился, старуха подозрительно повела носом и неуверенно промямлина:

— А может быть, открыть? Крышку-то?

— Срок еще не вышел, — безаппеляционно отрезала я: — Здешний один день — загнула я большой палец левой руки — идет за два российских, — загнула я указательный палец, — значит . . . Через три дня вскроем. Три! — показала я старухе оставшиеся незагнутыми три пальца. Простая арифметика. И ребенок поймет!

Но трех дней ждать не пришлось. Уже на следующий день разлагающийся запах был настолько крепок, что около бочонка было трудно стоять. Сомнения не оставалось: арбузы... «просолились».

Старуха, не внимая моему бессвязному лепету о том, что до отмеченного в календаре кружочка оставалось еще несколько дней, и что вообще температура в подвале немножко высока, пожалуй, для этих нежных плодов, не слушая, вооружилась топором и под мою декламацию о богатстве российской природы, выращивающей как раз такие плоды, из которых получаются настоящие, такие, как надо, соленые арбузы, — решительно разрубила крышку бочонка.

Я едва устояла на ногах при виде прогнивших, распавшихся арбузных кусков, почти отделившихся от родной корки.

У старухи оказалось много выдержки. Спокойно обтерев запачканный топорик, она сказала, что после полудня позовет соседского дворника, который и выбросит всю эту гадость, куда следует.

Не глядя на меня, она вышла из зловонного подвала.

С тех пор мы с ней не разговаривали. Не только об арбузах, но и вообще . . . просто перестали разговаривать.

Кавалер

У меня есть кавалер. Он приходит ко мне только после десяти часов вечера, когда закроет свою лавочку, в которой торгует.

Приходит он пить чай, так как одинок, и ему негде вечером попить чайку (не в кафе же идти на самом деле!).

Он любит поговорить. Говорит он с воодушевлением и горячо о . . . чайной колбасе, сливочном масле и других, волнующих хозяйственную голову, предметах. Говорит он долго и не уходит до тех пор, пока уже и невооруженным глазом делается видно, что глаза мои слипаются, и я вдруг необдуманно предлагаю ему приобрести чай, который на целую копейку дороже.

Мой кавалер и дня не обходится без меня. Когда же он не может прийти лично, то звонит по телефону. По имени и отчеству он редко меня называет, потому что фактически это не имеет никакого значения, как меня зовут: ему нужен слушатель и если по случайному совпадению обстоятельств таковым оказалась я, то это просто несчастный случай. И потому, когда он звонит по телефону, то обычно начинает так:

— Слушайть-ка! А что, чайная колбаса скоро портится?

— Невероятно скоро, — уверенно отвечаю я.

— А приблизительно через сколько часов?

— Через 48, — удивляясь собственному нахальству, изрекаю я.

— Ага! Значит, если я держу ее только 40 часов, значит она еще свежая? Продавать можно?

— Можно, — следует твердый ответ.

— Ну, ладно! — вешает он трубку.

Через час он может позвонить опять.

— А макароны?

— Что макароны? — забыв, о чем была речь час назад, переспрашиваю я.

— Скоро портятся?

— Никогда в жизни! Хоть сто лет лежат!

— Ну, ладно! — вешает он трубку.

А вечером приходит страшно озабоченный и прямо в пальто и шляпе идет на кухню, нежно, точно новорожденного, неся что-то обеими руками в замасленной бумаге. Пока я разбираюсь, что это копченая рыба, вонючий жир уже успевает накапать мне на платье, и я потом в течение недели базнадежно отмываю и отпариваю упорные рыбные пятна.

— Слушайть-ка, — тем временем говорит он, не обращая внимания на страдальческое выражение моих глаз, — вы попробуйте эту рыбу: испортилась она или нет.

— Хорошо, — смиренно говорю я.

А на следующий день звоню ему по телефону.

— Съела вашу рыбу и, как видите, жива.

— Значит, можно продавать?

— Рискните. Если я не умерла, так, может быть, и другие выживут.

— Ладно! А творог вы у меня не купите? А? Купите!

И в его голосе я вдруг улавливаю ласковые ноты.

— Зачем? Мне не надо творогу.

— Да я боюсь, что он у меня испортится, а осталось больше двух фунтов. А?

— Хорошо. Несите ваш творог: покупаю,

Но не подумайте, что он всегда был таким. Нет! Раньше у нас с ним были совсем другие разговоры. Тогда он еще не имел лавочки, а служил в гараже механиком, и мы разго-

варивали о... подшипниках, смене машинного масла, расточке цилиндров.

Говорил он об этом с таким же энтузиазмом и так же горячо, как и о макаронах. Он очень любил свое дело, и если уж, бывало, начнет рассказывать какой-нибудь случай с машиной, у которой оказались капризы, совсем не свойственные ее марке, то остановить его красноречие было совершенно не в человеческих возможностях.

Изо дня в день слышала я, как меняются кольца, как играет педаль... И в конце концов, мне стало казаться, что и в механике есть своя поэзия. Я начинала воображать, что и сама стала что-то понимать в автомобилях и, чувствуя себя наполовину автомобильным экспертом, даже делала указания, давала своему кавалеру советы. Поэтому, возможно, что иногда я даже являлась для него ценной собеседницей.

Бывало еще в передней, снимая пальто, как бы продолжая только что прерванный разговор, он начинал:

— Вот вы вчера изволили заметить, что пенсильванское масло хорошее. Я вам говорю: нет! Не хорошее оно! Смею вас уверить! Я потому и зашел сегодня, что вспомнил один интересный случай касательно этого масла.

И тут же следовал этот замечательный случай.

— Хотите чаю? — невежливо перебивала я его в самый патетический момент, когда было совершенно ясно, что слава пенсильванского масла навсегда померкла (одновременно с начинающимся помутнением и в моей голове).

— Чаю? Не знай... Да ну, ладно, налейте уж, — торопливо поправлялся он, боясь, чтобы я не истолковала неправильно его церемонию и не оставила б его без чаю.

Выпив четыре стакана чаю с молоком и с полдюжиной всяких булочек, он, отдуваясь вставал из-за стола и лениво, вразвалку, начинал ходить взад и вперед по комнате, задевая за стулья и роняя с этажерок статуэтки.

— Хотите еще чаю? — говорила я, пытаясь хоть как-нибудь остановить стихийную силу и чувствуя, что после четырех стаканов чаю он зарядился, как хорошая батарея и

сейчас опять начнет что-нибудь бесконечное о генераторе или заднем мосте.

В этот момент я шла на серьезный риск, потому что знала наверное, что нет больше ни булочек, ни воды в чайнике.

— Не-ет! — нахмурив брови, сердито отмахивался он, как от назойливой мухи и продолжал свой моцион по комнате: — я много вообще не ем: толстеть с чего-то начал.

Прослушав с десяток самых редких случаев с машинами, я окончательно дурела и для смены впечатления садилась к пианино и принималась играть гаммы. Играть что-нибудь другое, в то время как он говорил о подшипниках, я не могла: путалась, но гаммы нисколько не мешали нашему разговору. Он с таким же энтузиазмом продолжал свои рассказы, а я играла свои упражнения. Каждый занимался своим делом. Он только ближе подходил ко мне и над самым ухом кричал:

— А вот, когда я работал в гараже, так там такой был случай . . .

Тут опять следовал один из замечательных в истории человечества случаев, когда только-что отремонтированная машина вдруг начинала почему-то свистеть и урчать.

Ко всему этому давались самые пространные объяснения, после которых, тяжело вздохнув, я окончательно убеждалась, что ан — нет! жизнь-то совсем не такая простая штука, пока существуют на свете карбюраторы, конденсеры, карданные валы и прочее и прочее . . .

Да, интересный у меня кавалер: он дает мне философское углубление.

Танцевальный угар

Музыканты вяло, безвкусно пилили на своих инструметах, но в зале было оживленно.

Медленно, с сознанием собственного достоинства, ко мне подошел кавалер. Говорят, наружность обманчива. С виду кавалер этот был как будто и вполне слаженный, без заметных для глаз физических дефектов, но как только он начал танцевать, трудно было себе представить, чтоб человеческие ноги вообще способны выделывать подобные штуки.

— Мы что танцуем? — осторожно спросила я.

— А не все ли равно? Лишь бы под музыку.

— У вас широкий взгляд на вещи.

— Я всегда был таким. Танцы или что другое — все равно. Делайте больше шаги, а то вы не поспеваете за мной, — строго заметил он.

— Постараюсь . . .

— Да, видно, что вы . . . того, — продолжал он, — а я — нет! Я всегда широко шагал. Были когда-то и вы рысаками...

— Это вы про себя?

— А, да и вы тоже.

— Мерси, но я всегда далеко обходила конюшни: не люблю их запаха, да и лошадей боюсь.

— Это все в прошлом. Сейчас надо жить по новому. Ничего, привыкните.

— К новым конюшням? Или вы о чем?

— Отбросьте предрассудки! Вам это не идет.

— Да, нет, я что ж, я — ничего, я только . . . мне бы конюха . . . тренированного . . .

— Дайте объявление, может быть клюнет.

— Все будут ржать надо мной.

— Опять предрассудки!

— А все-таки, что мы танцуем? — опять спросила я.

— Бывший вальс.

— А по-моему, натуральный, лошадиный галоп. Но музыка ведь давно кончилась, может быть, нам лучше прекратить бить копытами, — предложила я.

— Если вы настаиваете.

— Мерси. И за танец и . . . за все лошадиное.

— Я — человек широких взглядов; может быть, вы когда-нибудь меня поймете, — сказал он на прощание и скрылся в толпе, неразгаданный, таинственный.

Но ко мне уже летел на коротких ножках другой кавалер. Он официально представился и тотчас же приступил к делу. Во время танца он хранил гробовое молчание, он священнодействовал. Недаром же он обучался в лучших танц-классах и истратил на это почти три тысячи американских долларов. Он ходил вперед, пятился назад, бросал меня направо и налево, крутил мои руки, обвивая их вокруг своей талии, а ногами деликатно испытывая крепость моих найлоновых чулок.

Когда же музыка оборвалась, он угрожающе потряс кулаком пред моим лицом.

— О, мы с вами станцуемся!

— Хорошо, — покорно пробормотала я, — обещаю. Только не ставьте сроков.

Дышалось не легко, пред глазами все еще стоял туман танцевальных студий, и я не заметила, как вокруг моей талии опять обвились чьи-то руки.

Когда я пришла в себя, мой глаз с удовольствием стал отдыхать на хорошо пригнанном парике моего партнера. Та-

нец, сам по себе, для него ничего не значил и был лишь способом развернуть свою талантливую натуру. Он тотчес же начал декламировать сочные куплеты, каждая четвертая строчка заканчивалась веским «наплевать».

— Откуда такие дивные вирши? — спросила я в оцепенении.

— О, я знаю много таких, не всякий только понимает. Вообще мне не везет в жизни, — тяжело вздохнул он, отходя в сторону.

Следующий не подошел, а подплыл. Молчал, рассеянно водя глазами по сторонам, вероятно, в поисках более интересной дамы. Мне что-то вспомнилось, и я мечтательно сказала:

— А помните тот дивный вальс, который мы с вами однажды танцевали? . .

Он перебил меня.

— Я столько в жизни танцевал, что всех вальсов не упомнишь.

Моя сентиментальность скорчилась как от мороза и спряталась в раковинку.

Скучно и вяло расстались.

Но вдруг ко мне подлетело что-то верткое, быстрое. Единственно, в чем я была уверена, что «оно» было двуногое и совершенно определенно мужское. У него все ходило ходуном: и руки, и ноги, и глаза, и брови. Он страстно обхватил меня и в миг завертел, закрутил.

— Мало пельменей едите, — выпалил он в следующую же секунду.

На мой немой взгляд он сразу же ответил:

— Вы — легкая, у вас талия и т. д., а у нас в Аргентине (я только месяц, как оттуда) все женщины полные; вот ту не провернешь!

Его язык был таким же подвижным, как и все остальное. В пять минут я знала всю его биографию, причину отъезда из Аргентины, цели и намерения в будущем, его удачи и ра-

зочарования. Единственно, чего мне не удалось узнать — его имени и фамилии.

Он не говорил, а выбрасывал из себя слова. Понимая только половину, я сначала все переспрашивала, но потом мысленно махнула рукой и на его монолог только кивала головой и изредка бросала односложное: да, да. Однако, очень скоро я поняла ошибочность своей тактики: его брови вдруг взлетели куда-то совсем на лоб, глаза округлились.

— Да? — переспросил он; — Вы тоже страшно счастливы, что мы встретились? Где же вы были всю мою жизнь?

— В разных местах, — ответила я невпопад.

— Пошли что-нибудь выпить, — в третий раз предложил он.

— Хорошо, чаю.

— Чаю? — брови опять вскинулись кверху.

— Что ж делать, если я обожаю чай, — извинилась я.

— Да, в таком случае действительно ничего не поделаешь.

Принес тепленький благотворительный чаек.

— Я положил два куска лимона и две ложки сахару, — радостно выкрикнул он, бросаясь на стул.

Терпеть не могу теплой, липкой воды, но . . .

— Вероятно, у вас в Аргентине пьют такой сладкий чай.

— Нет, там только танцуют. Ах, как танцуют! Мы с вами тоже можем так же, — многозначительно подмигнул он, — я заметил.

Но тепленький чай перебил его настроение, он даже потерял дар речи и только, как лягавая собака, одним ухом прислушивался к музыке в зале.

— Танго! — вдруг болезненным криком вырвалось у него.

Я залпом выпила свою сладкую чашу до дна и, опьяненная сладостью, положила ему руки на плечи.

— Танго . . . аргентинское . . . Пшли!

Знойное, увлекающее танго из далекой Аргентины было апофеозом этого интересного вечера.

Рассказы
Буки Букича Букашкина

ВСТУПЛЕНИЕ

Дело в том, что мужчина я довольно крупного телосложения. Широк в плечах (вес мой — шесть пудов, чистый, без укладки) да и ростом меня Бог не обидел: я из того сорта людей, которых мальчишки дразнят: «Дяденька, достань воробышка». Физиономия вот у меня, правда, самая банальная. Токих физиономий, как говорится, дают ровно 12 на дюжину. Много можно таких встретить. Но опять таки нельзя сказать, чтобы при встрече глаз приятно отдохнул на такой физиономии — нет, я этого не скажу: нос у меня широковат, а на таких носах глаз не отдыхает. Что глаза малы — это тоже правда; да и смотрю я как будто немного исподлобья. Одним словом, физиономия самая унтер-офицерская.

А ввиду того, что людей я не очень люблю, т. е. не очень пристрастен я ко взрослым людям, то и составилось обо мне мнение, будто я нелюдим. За это за самое меня и окрестили: «Бука Букич».

А исходя из моего большого роста и неуклюжего формата, приложили ко мне и ироническую фамилию: «Букашкин». Это, конечно, все смеха ради: «Бука Букич Букашкин». Хм! Не могу отрицать — остроумно.

Только, видите ли, что касается моей нелюдимости, то это не совсем так. Я должен вам признаться, что весьма даже обожаю некоторый сорт людей. Таких, знаете, маленьких людишек, возрастом от семи и до 15 лет включительно (вы-

ше 15 уже дрянь начинается). Попросту говоря, страшно люблю я мальчишек. А когда я сам им был, то, по совести говоря, был я озорник первостатейный. И много есть у меня такого, что. . . Да, вот, если хотите, я вам кое-что расскажу. Так смеха ради! А вы, если досужны, послушайте: может у вас этим хандру снимет, кто ж знает?

Да . . . Ну-с, так вот . . .

АПЧХИ

Иду это я, гимназист 1-го класса, как-то по Воскресенской улице своего родного города. Руки в карманах, делать нечего. Иду я и, конечно, глазею по сторонам.

Вдруг вижу, в аптекарском магазине, в окне, выставлены хорошенькие, как сейчас помню, голубенькие коробочки с вычурным таким рисунком на крышечках, и красивыми буквами на них крупно написано: «АПЧХИ».

— Что за коробочки такие? — подумал я: — И почему «Апчхи»? Загадочно.

И конечно, захожу в магазин спросить объяснения.

Аптекарь взял с окна одну из таких коробочек и этак любезно мне говорит:

— А это, видите ли, молодой человек, чихательный порошок. Если взять его немного и положить на ладонь, а затем быстро сдунуть, то он легко и быстро распространяется в воздухе, действует раздражающе на носовую оболочку и вызывает чихание.

«Забавно», — подумал я. И сейчас же моему мальчишескому воображению стали рисоваться картины, одна заманчивее другой, от применения этого удивительного порошка к каким-нибудь почтенным, но заносчивым особам.

— А чтобы самому не расчихаться, — продолжал аптекарь, — так тут есть предохранительные шарики из ваты. Их надо положить в нос перед употреблением, и тогда нет

никакой опасности для вас лично, молодой человек, — совсем любезно закончил аптекарь.

«Ай, хорошая штука, — глотая слюну, думал я: — Вот бы купить такую коробочку, да . . . вдруг дорого! Такая замечательная вещь обязательно не дешево стоит».

А в кармане у меня, рядом с перочинным ножиком, уютно уткнувшись в свалявшуюся пластинкой пыль, скромно лежал серебряный двугривенный.

— Сколько стоит? — с замиранием сердца спросил я, любовно рассматривая замысловатый узор коробочки.

— А стоит десять копеек коробочка.

— Дайте две!

И жадно схватив заветную покупку, я рысью побежал домой, заранее предвкушая удовольствие.

Дома я еще раз рассмотрел коробочки со всех сторон и решил: надо попробовать.

Вынул предохранительные шарики, заткнул нос и, насыпав на руку щепотку порошку, пошел к папаше. С невинным видом походил по кабинету, потрогал старинные каминные часы с боем, спросил, почему не ходят?

— Часто их трогаешь, озорник, потому и остановились. Иди-ка к себе лучше!

Этих обидных слов было достаточно, чтобы за папашиной спиной осторожненько сдунуть с ладони порошок и с обиженной физиономией и спокойной совестью за заслуженно преподнесенную пакость, покинуть кабинет.

А сам я, конечно, притаился за дверью и с любопытством слушаю: будет ли чихать?

И только минуты через две, которые на этот раз не спешили уходить в вечность, в кабинете раздался первый чих. На слух самый банальный чих. Настолько банальный, что я даже не сразу поверил, что это — «мой» чих, вызванный моей собственной персоной. Но за этим чихом почти тотчас же последовал второй, а за ним третий, и потом пошли чихи один за другим, да все чаще, все неистовее. Я уже больше не считал, сколько их было: сомнений не было. Убежал к себе

в детскую и за игрушки схватился, как будто я тут не при чем.

А отец все чихает, да чихает. Слышу, к матери прибежал, ругается. Мать соболезнует: — Ишь, как простудился, голубчик!

— Да здоров я, а чихается, — злится отец: — прямо голову отрывает, так чихается! Дрянь какая-то прицепилась!

Гимназист же первоклашка, сидя у себя в детской на полу, не разделял отцовского мнения. «Порошок доброкачественный, — думал он: — аптекарь не обманул». И стал обдумывать, кто будет его следующей жертвой.

На другой день пришел я в церковь и чинно стал на клиросе с одноклассниками своими и нежным дискантом запел вместе с хором.

Вот вышел на амвон отец дьякон и своим зычным густым голосом начал провозглашать ектению.

— Елицы оглашении изыдите, — начал он громко на всю церковь, так что даже где-то в левом углу задребезжала лампадка в светильнике. После «приидите вернии, миром Господу помолимся» пропел.

Тут я дернул регента за рукав:

— А ведь «Херувимская» внизу осталась . . .

— Иди и принеси!

Чинно несу ноты. А на нотах уже насыпан предательский порошок, и шарики из ваты у меня уже предусмотрительно в носу лежат. Подошел к дьякону, смахнул порошок и ушел.

А дьякон зычным голосом все поет и поет:

— Паки и паки . . .

И вдруг, как чихнет громогласно на всю церковь.

— Ми . . . апчхи! Миром Господу помо . . . чхи, чхи!

Хор решил не дожидаться и ответил:

— Господи, помилуй!

Дьякон опять за ектенью схватился, хочет продолжать, да где уж тут! Вместо божественных слов верующие только и слышали зычное на весь храм чихание.

И дошло до того, что уж шептаться вокруг начали. А из северных ворот стала беспокойно выглядывать лысая голова протоиерея и с удивлением всматриваться в посрамленное лицо отца дьякона. Когда же последний, махнув рукой на ектению, шатаясь, вошел в алтарь, батюшка так и бросился к нему.

— Что это вы, — говорит, — отец дьякон, срамитесь? Уж если у вас такой сильный насморк, дома бы сидели, а то ведь это даже и непристойно во время службы так чихать.

— Да со мной это только... чхи! в пер... чхи! в первой, отец, случилось. Скребет в носу — и баста!

Батюшка только с сожалением руками развел, смотря на покресневшее лицо и слезящиеся глаза дьякона и тихо, по-христиански, сказал:

— Как-нибудь уж кончайте обедню-то.

Ну и пришлось отцу дьякону в перерывах между чихами кое-как продолжать службу. Но кончал то он ее уже не своим самоуверенным, раскатистым баритоном, а каким-то совсем непривычным, чужим голосом. И по всей церкви шелестел шепот сожаления над одолевшей отца дьякона простудой. И только на клиросе одна маленькая душонка, спрятанная под гимназическую куртку, чего-то злорадствовала. Та душонка, нечего уж греха таить, принадлежала мне.

НЕМЕЦ

Немецкий же язык у нас в гимназии преподавал очень старый и опытный педагог, занимавшийся педагогической деятельностью около сорока лет, и по фамилии — Барон. И хоть немец он был густопсовый, но звали его Александром Викторовичем.

Роста он был незначительного, но плотный, упитанный с виду человечек, с большой белой бородой и значительной лысиной к тому же.

По-русски он говорил, сильно картавя, но несмотря на это, любил острить. Он старался всегда быть чрезвычайно вежливым и учеников называл «любезными», хотя часто это совсем не гармонировало с их поведением.

Но был он также и очень требовательным. С самого же первого урока потребовал он с учеников книжечки, куда должны быть записаны все незнакомые слова.. К этому немецкому педантизму ученики отнеслись небрежно, и вышло так, что когда на следующий урок г. Барон стал спрашивать книжечки со словами, то ни у кого таковых не оказалось, конечно. Таким непорядком немец очень разозлился, стал вызывать всех подряд по алфавиту и всем подряд ставить единицы.

Дошла очередь и до меня.

— Книжка имел со словам?

— Видите ли, Александр Викторович, книжка то у меня есть, да только слов там нет.

— А! Ти хочешь быть нахал, любезный челофек. Иди на места! Тебе единица.

— Но позвольте, Александр Викторович, я потому не записал слов, что не было ни одного незнакомого.

— Што-о? Все слов знаешь?

— Все, Александр Викторович.

— Иди отвечайт, любезный!

Я пошел и хотя в урок я даже не заглядывал, все перевел без запинки, т. к. по-немецки я умел говорить. Немец этого не ожидал.

— О, ти совсем молодец, любезный челофек!

И переделал единицу на четверку.

С тех пор он настолько проникся ко мне уважением, что урока никогда не спрашивал, но в четвертях неизменно выводил 4.

Поэтому я, можно сказать, был освобожден от занятий по немецкому языку и естественно стал заполнять свободное на его уроках время шалостями.

С этого и пошли все издевательства над немцем.

Однажды мы узнали, что наш немец очень боится умереть и нет для него ничего неприятнее, как разговор о смерти. Откуда это нам стало известно — Бог его знает, но только пришел как-то немец на урок и вздрогнул, увидев в классе зажженную свечу, которая так ловко была привязана к медной ручке задней двери, что действительно получалось впечатление, будто там стоит икона.

Вызывает он одного ученика, а тот читает урок как псалтирь: монотонно, певуче, а все остальные ученики в это время, не открывая ртов, «со святыми упокой» затянули.

— Не надо, не надо! Не смейт, любезные! — замахал на нас руками немец: — Ви . . . ви все глюп, глюп! — тыкал он в нас пальцем: — Глюп и дурак! — веско закончил он, покраснев как рак. Весь дрожа и плюясь от нервного возбуждения, Барон выбежал из класса.

Урока немецкого языка у нас в тот день не было: Александр Викторович оказался слишком расстроен.

Но в общем, он был добродушнейшим человеком и очень скоро забывал причиненные ему неприятности, что как раз нам было весьма на руку. Ну, конечно, трунили мы над ним здорово! Тем более, что поводов к тому он сам давал немало.

Узнали еще мы, что наш «любезный» Александр Викторович до смерти боится крыс. Ну, как же было не использовать этой его слабости! Согласитесь по совести, что ведь прямо грех было бы оставить это без внимания.

И вот, в одно холодное зимнее утро я, вместе с Петькой Утемовым, отправился в пожарную команду, где мой знакомый пожарный за рупь целковый обещал поймать хорошую крысу. Пожарный не надул: крыса действительно оказалась хорошей, жирная, откормленная на пожарном овсе. Посадил я ее в ранец и бегом в гимназию.

Только как попала крыса в ранец, стала она сильно нервничать от непривычных новых условий жизни и принялась решительно грызть ранец. Я испугался, не прогрызла бы она дыру и предложил Петьке бить кулаком по ранцу. Конечно, не о ранце я беспокоился, а о том, чтобы крыса не убежала

— ведь кровный, с трудом скопленный, целковый был за нее уплачен! Да и крыса сама по себе была больно хороша.

И действительно, крыса унималась, как только Петька начинал барабанить по ранцу. Так всю дорогу до гимназии он и шел сзади меня и бил кулаками по ранцу.

А в классе я еле-еле дождался третьего урока, когда должен был прийти «любезный» г. Барон заниматься с нами немецким языком.

Не прошло и пяти минут после водружения на кафедру плотной маленькой немецкой фигурки, как я выпустил засидевшуюся крысу.

От долгого сиденья в темноте она несколько одурела и как вышла на середину класса, села на задние лапки, так и осталась сидеть. Сидит черная да жирная, размером с крупного котенка, сидит, старается привести в порядок свою нервную систему.

Вдруг взгляд немца упал на нее... Ну и взгляд! Глаза округлились, по блюдечку стали. Уставился немец на крысу и вдруг как крикнет на весь класс:

— Крыса! Любезные люди! Ноги на стол!

И хлоп! Ноги на кафедру положил. И все ученики, как по команде, сделали то же.

Сидим и не дышим; лишь крыса, очухавшись, забегала по классу, шурша своим жирным телом.

Не знаю, долго ли, коротко ли мы так сидели б, но только случилось в это время нашему директору проходить по коридору (он частенько так прохаживался во время уроков, засматривая в застекленные двери классов). Заглянул он в наш класс и... Конечно, вы догадываетесь, что директор удивился, увидев почтенного педагога с ногами на кафедре и учеников всех, как одного, выставивших напоказ свои ботинки. Что за диво? Ведь это вам не Америка, судари мои, чтобы ноги на стол класть, — было чему удивиться!

А удивившись, директор приоткрыл дверь и прислушался, чему г. Барон учит в таких позах. А в классе тихо, тихо. Лишь изредка слышалось шиканье проказливых учеников,

старавшихся растормошить неповоротливого грызуна и заставить его бегать по классу бойчее обыкновенного. А немец дрожит, трясется и слова от страху не вымолвит. Увидев удивленные глаза на лице директора, тихонечко просунувшего в дверь голову, немец только и мог, что бессильно замахать на него руками и хриплым шепотом простонать:

— Крыса . . .

Еле-еле удалось уговорить беднягу снять ноги с кафедры и бледного, чуть живого вывести в зал.

А в класс пригласили сторожа с метлой, который и выловил опасного зверя.

Урока немецкого языка у нас и в этот день не было: «любезный» Барон был слишком потрясен событием.

А через неделю, во время рождественских каникул, в гимназии заново перестилали полы, дабы закрыть крысам все ходы . . .

А крыса-то была пожарная! Ха!

Но лучше всего была все-таки история с именинным пирогом.

Именинником-то был наш уважаемый регент. Регент он был хороший, жили мы с ним дружно (т. е. особенных пакостей ему не делали. Разве только ноты иногда украдешь, иль петуха во время спевки пустишь). Но была у него кухарка Анисья, злая, презлая баба. Подобной стервы я за всю жизнь больше не встречал, и была она нашим злейшим врагом.

Вражда то с пустяков началась. Как-то наши гимназисты ее на базаре повстречали. Чего-то мальчики не поделили, что-то ей сказали. А у нее помидоры в руках были, — она хвать помидор да в лоб мальчишке, да второй помидор другому в лоб! . . Мальчишки убежали. Не далеко, за угол. Купили яиц, догнали Анисью да и избили ее яйцами.

Но Анисья злопамятная была, и с тех пор, как только ей попадался кто-нибудь из гимназистов, она его ловила и добросовестно отлупливала. Лупила она нас у каретника (было такое место) и расправлялась, надо сказать, совсем не по

женски: чем-нибудь вроде оглобли, например. Это, я смею вас уверить по опыту, орудие довольно основательное.

Битый таким образом мальчишка долго потом в синяках ходил. Но никому не жаловался, молчал: он уж ей потом отомстит, — или веревочку через забор протянет — Анисья растянется во весь рост, или просто в саду подстережет и изобьет при участии сочувствующих товарищей. Часто гимназисты били регентовскую кухарку. Анисья нас терпеть не могла и была глубоко убеждена, что все гимназисты — прохвосты. Ну и мы, сами понимаете, не платили ей любовью.

Но пуще всего любили мы изводить Анисью звонками у дверей: позвоним и убежим, позвоним и убежим...

Но она скоро наловчилась, подлая, и на первый звонок совсем перестала выходить. Когда же настойчиво раздавался второй, Анисья только выглядывала, чтобы убедиться, что звоним мы, и после этого она не уходила наверх, а пряталась за дверь с половой щеткой или со скалкой в руках и ждала нашего третьего звонка. И как только раздавался третий звонок, Анисья стремительно распахивала дверь и била щеткой по башке счастливого, который попадался.

Звонить она нас этим не отучила, конечно, а лишь заставила быть хитрее, и звонить мы стали палочкой, на расстоянии, с которого щеткой достать было нельзя.

И вот прознали мы, что на именины к регенту приглашено много гостей и в том числе наш немец, Александр Викторович.

Узнали мы также, что именинный пирог назначен на три часа. И к этому времени мы и стали готовиться.

Конечно, от аккуратного немца нельзя было ожидать, чтобы он или опоздал или пришел раньше назначенного времени — нет, он придет точно, минута в минуту в три часа.

Естественно поэтому, что до трех часов нам нужно было успеть дать два звонка. И вот, без трех минут три начали мы звонить.

Звоним раз. Кухарка Анисья знает, что в такую рань гости не придут и что звоним мы и, как полагается, на звонок

не идет. Ей к тому же и чертовски некогда: у нее в печке пирог может сгореть, ну и прочее.

Подождали мы с минуту, звоним второй раз.

Анисья выбежала со злыми глазами, яростно погрозила нам кулаком в муке и тихонько притворила дверь. Мы знаем, что не ушла она, а притаилась и стоит за дверью. Но наше дело сделано — звонить нам больше не надо. Мы знаем, что через минуту, ровно в три, решающий звонок даст за нас немец.

И действительно, из-за угла уже вынырнула его добродушная круглая фигурка.

День был летний, жаркий. Одет Барон был во все белое, во франтовской соломенной шляпе, в белых парусиновых туфлях, и весь, вместе со своей длинной седой бородой, до жути был такой беленький и аккуратненький, что прямо глазам было больно.

И вот, такой-то ослепительный он и подошел к регентскому крыльцу. Вынул для проверки себя часы: действительно ровно три часа — и на этот раз не обманула его немецкая натура, все в порядке. И указательным пухленьким пальцем нажал кнопку у двери.

И что же такое происходит?

Не успел Барон пальца от кнопки оторвать, и звонок еще досказывал свое нервное «дззз», как вдруг парадная дверь с треском распахнулась, и немец даже ручками не успел взмахнуть, как разъяренная кухарка размашисто надела ему на голову помойное ведро с помоями. Да вдруг, как ахнет, — и давай ведро обратно стаскивать!

А Барон до того растерялся от неожиданного положения, в котором очутился, что лишь стоял, растопырив свои короткие ножки и, бессмысленно повторяя »Мейн Готт, мейн Готт», брезгливо выбирал из своей белой немецкой бороды картофельную шелуху, обрезки огурцов и прочих, оставленных за ненужностью, предметов домашнего обихода. А грязные помои беззастенчиво лились с его франтовской со-

ломенной шляпы на белоснежный летний костюм и парусиновые туфли.

Уж не буду описывать всех восклицаний и извинительных интеллигентских слов, с которыми обмывали и переодевали немца. Скажу только, что в апофеозе именинный пирог Барону пришлось есть в дамском халате с кисточками: ничего другого для него в доме не нашли.

А сконфуженная Анисья до позднего вечера все замывала да разглаживала белоснежный костюм немца.

Где же справедливость? Куда она спряталась в тот солнечный летний день?

КАК Я УКРАЛ АРХИЕРЕЙСКИХ ПЕВЧИХ

Было мне лет восемь, когда однажды пришел к отцу с визитом новый регент III-ей гимназии. Отец мой был постоянным, в течение десяти лет, врачом этой гимназии. Он был рад познакомиться с новым регентом и пригласил его в воскресенье к себе на обед.

— Я приду к вам со всем своим семейством, — ответил на приглашение регент: — Я вот вижу, у вас есть мальчик. У меня тоже мальчики . . . Если разрешите?

Конечно, отец выразил полное удовольствие видеть в воскресенье регента со всем его семейством.

А потом с матерью долго обсуждали, как велико может быть его семейство. Сам регент не сказал, спросить же, сколько у него мальчиков, было неудобно. А вместе с тем приглашение было к обеду.

Наконец, после двухчасового совещания решено было быть готовыми принять десять человек: не может же быть, чтобы у интеллигентного человека было больше десятка детей!

На следующее воскресенье напекли пирогов, нажарили кур, уток и стали ждать регента с семейством.

Ровно в три часа открылись двери, и вошел сияющий регент, а за ним, как горох, посыпали один за другим двадцать мальчишек в возрасте от восьми до четырнадцати лет. Мать с испугу в кухню спряталась, а отец с судорожной улыбкой на лице проводил гостей к столу.

Тут регент и признался, что эти мальчики набраны из разных классов гимназии и составляют его хор.

— Вы знаете, я живу этим хором. Все мои интересы в нем, — сказал он.

После обеда вся свора мальчишек, во главе с регентом, прошла в гостиную, и регент решил попробовать мой голос. Слуха у меня не оказалось никакейшего, но зато он обнаружил редкий по нежности и силе дискант.

— Определяйте его в III-ю гимназию, и я возьму его к себе в хор. Уверяю, из него получится хороший певец, — с восторгом сделал заключение регент.

— Как же в III-ю гимназию? — запротестовал отец: — Что вы! Ведь и мой отец, и дед, и прадед — все окончили I-ю гимназию. Я не могу нарушить традиции.

— Пустяки! Нарушайте! Я певца сделаю из вашего сына.

Через несколько дней семейный совет, собранный по этому случаю, вынес решение: нарушить традицию во благо потомству и сделать меня гимназистом III-й гимназии.

Регент, по прозванию Саввич (звали его Александром Саввичем), был большой энтузиаст своего дела. За меня он принялся так рьяно, что через очень короткое время я не только знал все песнопения, но даже выучил и сольные партии.

Гимназический хор, благодаря Саввичу, стал превосходным и прославился на весь город. По двунадесятым праздникам нас всегда водили в кафедральный собор, где мы, пополам с соборным хором, пели службу. В некоторых песнопениях наш хор даже был лучше соборного, но тем не менее, как-то уж по традиции, «Исполла, эти деспота» всегда исполняли солисты соборного хора, в общежитии называвшимся у нас «архиерейским» хором.

Саввич прекрасно видел свое превосходство, как регента, и ему было очень обидно занимать второе место, а главное, совсем не иметь возможности выдвинуть своих певцов, показать своих солистов.

Особенно он гордился мною, тем более, что однажды ктитор даже отметил мой голос. Но решив, что с таким хорошим голосом мальчик может быть только в архиерейском хоре, ктитор приписал и меня к архиерейским певчим. И когда кончилась служба, от умиления — бах! — преподнес коробку конфет одному из архиерейских исполатчиков. Мальчик, тоже дискант, коробку принял и только, когда уже съел половину конфет, объявил, что соло то пел вовсе не он, а какой-то мальчик из III-ей гимназии.

Ктитор был весьма смущен своей поспешностью с преподношением и, чтобы исправить ошибку, лично отблагодарил Саввича за прекрасного солиста, но, увы! — конфет больше не давал.

Во всем этом деле обиженным остался только я.

Ужасно было мне обидно, что мои конфеты были съедены архиерейским исполатчиком. И до того эта обида засела во мне и грызла самолюбие, что, в конце концов, я пришел к решению не более и не менее, как изничтожить архиерейских певчих.

Постепенно, по спокойном обсуждении, я смягчил свое постановление и решил весь хор не уничтожать, а только подложить исполатчикам какую-нибудь пакость так, чтобы дать возможность нашему хору восторжествовать.

Думал я, думал и, наконец, придумал: накормить исполатчиков конфетами, уж коли они так их любят. Но мои конфеты будут не такие, как ктиторские, а особого сорта, которые покупаются в аптеке.

Раскошелился я, купил конфет. Для выполнения своего плана я познакомился с исполатчиками и даже как будто завел с ними дружбу.

И в один прекрасный день, когда по случаю какого-то двунадесятого праздника была назначена торжественная служ-

ба в соборе, я накормил мальчиков конфетами. В начале я давал конфеты хорошие, чтобы снискать доверие. И только перед самой службой рассовал им конфеты дрянные.

Естественно, что я не отходил от них и торчал с ними все время, а потом сам любезно проводил их в некое злачное место.

Как только они все трое вошли туда, сердце у меня готово было выпрыгнуть от радости. В следующий же момент я развернулся: одному дал по морде, другого ногой... трах-потрах, сам выскочил, хлопнул дубовой дверью и задвинул ее на засов.

Никто этой сцены не видел. Мальчишки, поняв, что попали в западню, начали орать и бить в дверь кулаками и ногами. Да кто ж их там услышит? Все сейчас, конечно, в церкви, готовятся к торжественной службе. Сам же я, как запер исполатчиков, задал дралу и вернулся на клирос, как ни в чем не бывало.

И вот служба идет своим чередом. Все хорошо так, торжественно. Начальство в мундирах, ученики тоже подтянуты по-праздничному. На лице директора разлилось длительное блаженство. Даже злой инспектор стал с лица как-то добрее.

Вот уж и облачение архиерея идет, скоро «Исполла, эти деспота» петь. Архиерейский регент уже и руками взмахнул, подавая исполатчикам сигнал выходить. Хвать! — а исполатчиков-то и нет. Что такое? Туда, сюда... Где исполатчики? Никто не знает. Были вот тут минуту назад, а сейчас нет.

Черной тучей заволоклось лицо регента. Соборный протодиакон уже начал покрякивать. А был он мужчина громадного роста, с брюхом, с большой окладистой бородой и очень длинными волосами. Мало сказать, что был он видным мужчиной, потому что, если такую фигуру встретить где-нибудь на глухой улице поздно вечером, то от неожиданности можно было просто испугаться. И вот, в ожидании перед архиерейским выходом уставился он на царские врата, с ноги на

ногу переминается, а место для исполатчиков все остается пустым.

Проходит еще несколько минут томительного ожидания, протодиакон даже повернулся от удивления к хору. И видит он, как все мальчишки руки вверх подняли, а регент с ужасом на лице отчаянно жестикулирует.

А я под ногами у Саввича верчусь, в глаза ему засматриваю и, едва сдерживая радость, шепчу:

— Нету архиерейских исполатчиков . . .

Он обнял меня и еще двух мальчиков I-го и II-го альта и делает сигналы протодиакону, что, мол, выручу в любой момент своими певчими. Протодиакон еще раз обернулся на хоры и увидел, что там уже совершенная паника. Певчие, один за другим, бегут вниз искать исполатчиков, да и сам регент собственной персоной для чего-то спускается с хор. Такой праздник, а тут вдруг . . . Опять взглянул он на клирос и увидел Саввича, обнявшего трех мальчиков, своих лучших солистов, и делающего глазами знаки.

Ждать больше уже нельзя. И протодиакон слегка утвердительно качнул своей громадной головой и пальцем показал на место для исполатчиков.

— Идите! — шепнул нам Саввич и тихонечко этак вытолкнул нас на середину храма.

От волнения мой нежный дискант звучал еще мягче, еще красивее. И песнопения были настолько удачными, что даже сам архиерей на нас оборачивался.

А дальше все пошло совсем необычно, не по расписанию: архиерейский хор молчит, потому что все мальчишки разбежались искать своих злосчастных исполатчиков, и наш гимназический хор грянул с клироса один.

Архиерейский регент сначала все бегал сверху вниз, пытался собрать разбежавшийся хор, но когда услышал, что мы уже запели «Блаженство», махнул рукой и окончательно сошел с хор, предоставляя нам одним вести службу.

Когда же служба кончилась, владыка долго жал Саввичу руку, благодаря за доставленное удовольствие. Самолюбивый Саввич был на седьмом небе от счастья, и тут же попросил разрешение как-нибудь пропеть всю обедню целиком, чтобы показать действительную красоту и величие своего хора. Владыка обещал серьезно подумать над этим и с милой улыбкой роздал каждому исполатчику по коробке конфет.

Архиерейский же регент тем временем, злобно сжимая локоть Саввича, шипел над его ухом:

— Это все ваши штучки! Извольте отвечать: это вы заперли моих исполатчиков в уборной?

— Вы с ума сошли! — искренне возмутился Саввич: — Я в первый раз об этом слышу!

Но архиерейский регент и не думал ему верить, и они оба долго стояли посреди храма и ругались, пока кто-то не вывел их, наконец, на улицу.

Дело дошло до инспектора.

Архиерейские исполатчики уверяли, что их запер один из мальчиков гимназического хора, которого они помнят в лицо, но фамилии, к сожалению, не знают. Саввич, чтобы очистить себя от подозрений, предложил устроить очную ставку архиерейских исполатчиков со своим хором, чтобы мальчики могли найти виновного. На этом и порешили.

Да, а каково же мне? Надо было как-то вылезать из создавшегося положения.

На другой день после молитвы наш хор построили в гимназическом зале, проверили, все ли тут, и когда стройными рядами мы двинулись в кабинет директора, где нас ждал архиерейский регент со своими исполатчиками, я был спокоен: у меня уже было готовое решение.

Проходя через учительские вешалки, я ловко шмыгнул под чью-то шубу. Только один Саввич, шедший сзади всех, видел мой маневр. Он отстал от хора, вернулся к вешалке и, подняв енотовую шубу, которая меня приютила, отрывисто спросил:

— Ты?

— Я...

— Сиди!

И пошел вместе с остальным хором к директору.

Конечно, исполатчики не могли опознать виновного среди оставшихся хористов. И было решено, что выкинул эту штуку кто-то из посторонних, подученный хористами.

Но инспектор не мог оставить этого дела нерасследованным, тем более, что архиерейский регент все еще считал себя обиженным, да и владыка время от времени поднимал разговор о том, что преступление не должно оставаться не наказуемым.

Так или иначе, но инспектор решил отыскать нить преступления. Для этой цели он каждый день вызывал учеников к себе в кабинет, группой в десять человек, и персонально допрашивал их. Увильнуть при такой системе уже было никак нельзя, и, в конце концов, очередь дошла и до меня. Ну, я все и рассказал ему на чистоту!

Инспектор, выслушав меня, встал и, закинув руку за подтяжку, начал ходить по кабинету взад и вперед. Все гимназисты знали, что инспектор делался злым-презлым, когда брался за подтяжку, и потому я здорово струсил, заметив его характерный жест.

Едва сдерживая себя, он отрывисто мне бросил:

— Иди к директору!

Я с облегчением вздохнул и побежал к директору, который меня очень любил. С ним у нас произошел очень короткий разговор.

— Ты чего? — добродушно спросил он, исподлобья глядя на меня через очки. — Певчих припёр?

— Припёр...

— Ну, иди в класс!

Но через несколько дней во время урока за мной в класс пришел сторож.

— Иди к Марье Николавне, — сказал он.

Марья Николаевна, жена директора, была очень милая, но строгая особа. К ней на аудиенцию ученик попадал только в том случае, если действительно очень в чем-нибудь провинился. Она прежде всего поила нашалившего мальчика шоколадом, и в то время как сладкая, горячая жидкость наполняла его желудок, она читала пространную лекцию о значении добрых и злых дел человеческих.

Шоколад Марьи Николаевны всегда как-то стыдно бывало пить. Под влиянием ее проникновенных слов в это время весьма отчетливо чувствовалась вина перед всем человечеством за содеянное. Но отказаться от вкусного шоколада тоже было трудно, поэтому еще острее чувствовалось, что ты негодяй во всех отношениях и, выпив шоколад, я обычно белугой ревел на коленях директорши.

Но на этот раз она, напоив шоколадом, повела в комнату своего сына и заставила раздеться, вымыть руки, шею, уши... (Ох, эти уши! Для чего только Творец создал эти уродливые раковины! Вероятно, исключительно для того, чтобы отравлять мальчикам существование).

Когда я тщательно вымылся и нарядился в принесенный мундир, Марья Николаевна навела инспекцию и, заявив, что все хорошо, дала в заключение перчатки, из которых левую приказала надеть на руку.

Торжественность облачения навела меня на мысль, что что-то очень серьезное ожидает меня впереди. И когда было объявлено, что мы едем к владыке, у меня подкосились ноги. Я едва сознавал, как вышел на улицу.

Было жутко в учебное время ехать в экипаже по улицам города. Мне казалось, что все прохожие видят, какого преступника везет Марья Николаевна. А от сознания предстать сейчас со всей своей подлой душой перед суровую бороду владыки я бледнел, и холод пробегал меж моими детскими, но удалыми лопатками.

Владыка, важный, с громадной белой бородой, был прост и совсем не торжественен как в соборе во время службы. Он сразу расположил меня к себе своей мягкой улыбкой и боль-

шими белыми руками, которыми он все время обнимал меня за плечи. Голос у него в противовес важной наружности был слабый и тихий. И мне совсем перестало быть страшно.

Мы с ним очень легко разговорились. Подученный Марьей Николаевной, я просто и откровенно рассказал ему, как был оскорблен и как решил отомстить архиерейским певчим и запереть их.

— Одним словом, ты их, как коровушку на хлеб, заманил конфетами, а потом взял и украл их?

— Украл, — признался я.

— А ведь красть грех...

Надо было видеть, каким светом светились при этом глаза владыки, как симпатично поглаживал он необычайно белыми руками свою библейскую бороду.

— Ничего, ничего! — кивал он головой. — Только ты в другой раз так не делай, — упрашивал он меня, провожая нас до передней.

И казалось мне, что побывал я в гостях у одного из своих многочисленных двоюродных дедушек, с которым мне по какой-то случайности до сего дня не привелось познакомиться. Я был горд и счастлив новым знакомством.

Вот и все! Тем дело и кончилось.

КОЗЕЛ

Саввича, доброго и ласкового регента, мы, гимназисты, очень любили. Своей исключительной добросовестностью и любовью к делу Саввич благотворно на нас действовал. Мы заражались его самоотверженностью, его энтузиазмом и с любовью разучивали церковные песнопения, начиная разбираться в них и понимать их красоту. Мы полюбили пение, аккуратно приходили на спевки и добросовестно выполняли все требования.

Результаты такого отношения к делу не замедлили сказаться. Слава о нашем хоре быстро распространилась. Она росла и укреплялась настолько, что нас даже стали приглашать петь за деньги на разные торжества: свадьбу там пропеть, похороны, или еще что.

В хор к Саввичу даже стали поступать многие из уже окончивших гимназию и состоявших студентами. Был даже один приват-доцент, тоже из бывших учеников нашей гимназии.

Одним словом, мы были просто и глубоко счастливы с Саввичем. И вдруг налетела на нас беда: из учебного округа получился приказ о переводе Саввича в другой город. За особые педагогические заслуги переводился он с увеличенным окладом на должность инспектора. Для Саввича это повышение, конечно, было хорошим поворотом колеса фортуны. Но хотя в материальном отношении оно его вполне устраивало, тем не менее ходил он как в воду опущенный: ведь здесь, в этой гимназии захолустного города, он душу свою оставлял с мальчуганами, с которыми за несколько лет работы сроднился настолько, что просто стал неотделим от них. «Мое семейство! Мои детишки! . .» — называл он гимназический хор.

Нечего и говорить, что весть о его переводе ударила как обухом и хористов. Занятия разом пошли на смарку, уроков никто не стал готовить, в классах только и было разговоров, что о Саввиче. Учителя ничего поделать не могли и, в конце концов, накричавшись и испортив журнал разными скверными знаками, махнули рукой, предоставив времени залечить наше горе.

После долгих обсуждений: «что делать?» хористы решили не отпускать своего любимого регента. С этой целью к директору отправили делегацию, да и самого Саввича чуть не на коленях умоляли не уезжать. Тем не менее, сделать решительно ничего не могли. На все гимназисты получали один ответ: «Распоряжение из округа. Ничего поделать нельзя». Очевидно, кто-то с нехорошим черным глазом позавидовал нам, и пришел конец нашему счастью.

Последние дни с Саввичем пролетели очень быстро. Подошло и прощальное воскресенье, когда мы должны были петь с ним последнюю обедню.

Со слезами на глазах наш милейший регент в последний раз дирижировал хором, оставляя нас на попечение нового регента, который уже приехал из Петербурга и присутствовал тут же в церкви.

Маленький, визгливый, очень быстрый в движениях, он уже здорово успел нам примелькаться. Был он вылощенный, выхоленный господинчик, настоящая столичная штучка, только монокля ему не хватало. Говорил он несколько в нос, заикался и к тому же картавил. В особенности очень манерно у него выходила буква «о». Ее он произносил как-то особенно томно, и звучала она у него как «йо».

Прослушав обедню, он решительно обеявил, что хор никуда не годится, что с такими прекрасными голосами оперы можно петь, а не тянуть примитивно построенные песнопения.

С первого же урока он отменил все песнопения Саввича и начал заново нас учить очень сложным и действительно чуть ли не оперным напевам. Но, к сожалению, этим он лишь показал свой плохой вкус: излишняя светскость мешала красоте церковного пения.

Как начали мы все переучивать, так сразу и поняли, что кончилась карьера нашего хора, и что новый регент похерит всю его славу. Славу, созданную именно простыми, «печорскими» напевами, рождавшими особое молитвенное настроение, ради которого нашу гимназическую церковь любили посещать даже посторонние.

Ко всем перечисленным недостаткам нового регента надо еще добавить, что он двутонил и обладал паршивеньким дребезжащим тенорком. Выражаясь не очень научно, пел он «козлетоном». За это его, конечно, сразу же окрестили «Козлом».

Тут-то мы и поняли, почему его из столицы перевели к нам!

При всех его отрицательных данных ему безусловно никак не следовало самому петь в хоре. Но считая, вероятно, что хор необходимо вести личным участием, он всегда пел с нами, в особенности в трудных, неудававшихся местах. Вследствие этого и получалось, что утренняя молитва (это то, с чего он начал) больше походила на оперетку. Волнуясь и заикаясь, «Козел» обычно затягивал своим козлетоном: «П-п-пре-благий Г-г-господи». А гимназисты, гримасничая и хихикая, в тон ему отвечали тем же блеянием.

Очень скоро спевки стали посещаться лишь теми из гимназистов, которые вообще мрачно смотрели на жизнь и ничего хорошего от нее не ждали. Хор значительно поредел, многие из студентов, дорожа своим временем, ушли. Ушел, конечно, и приват-доцент. Короче говоря, было совершенно ясно, что хор быстрыми шагами шел на убыль.

Эта мысль гимназистам покою не давала. И, в конце концов, старшие воспитанники решили опять идти делегацией к директору и, если еще не поздно, просить вернуть Саввича, а «Козла» отправить обратно в Петербург: было совершенно очевидно, что попал он в чужой огород; ему бы где-нибудь в провинциальном театре за кулисами раскудахтавшихся кур изображать, а не состоять регентом гимназического хора.

Директор с глубоким сожалением опять повторил, что ничего не может поделать.

— Терпите! — вздохнул он, вполне разделяя наше горе.

— Как терпеть! Да мы не желаем этого козла! — возражали воспитанники.

— Ах, не желаете, ну так и придумайте что-нибудь. Вы люди взрослые, неужели же ничего не можете придумать? — хитро подмигнул он.

Намек был очень прозрачный, и ученики решили как следует обмозговать это дело.

Я был тогда еще только третьеклассником, но мозги у меня в тот период моей жизни работали весьма бойко и особенно я славился всякими выдумками. Мне был отдан приказ:

«Думай скорей! И придумай, что хочешь, но только чтоб здорово было».

Поверите ли, сколько тогда я провел бессонных ночей, сколько карандашей от глубокомыслия искусал, получив такое серьезное задание. Но все же ничего остроумного в голову не приходило, пока в один прекрасный день меня не прижали в угол реакционного зала два здоровенных восьмиклассника. Взяв с меня обещание никому ничего не говорить, приказали прийти на какую-то частную квартиру для спевки. Приказ был отдан таким тоном, что ослушаться я не мог; если б ослушался, от меня бы мокрое место осталось: так бы избили!

Ну и пошел я на спевку. А там, смотрю, уже весь хор. Да еще с надбавкой: пришли все прежние студенты.

Заводиловка-восьмиклассник потребовал, чтобы никто ни полслова не смел вынести из того, что будет здесь делаться. Все страшно таинственно, прямо — заговор декабристов.

Объявил, что будем повторять старую панихиду Саввича. Конечно, все прекрасно ее знали, но дело было в том, что нужно было ее так разучить, чтобы не только обходиться без камертона, но и без всяких указаний со стороны регента.

Взялись мы за дело рьяно и в короткое время выучили панихиду наизусть.

Ладно! Выучили мы панихиду на зубок, да только вот беда: как на зло никто не умирает!

Мучаемся мы неделю, другую, третью... И вдруг, в одно чудесное утро увидели, что дьякон в черную рясу облачился: кто-то из очень высокопоставленных особ скончался. Значит будет заупокойная литургия, будет панихида.

От этой радостной вести весь хор встрепенулся. На панихиду хористы пришли, как на свадьбу: с оживленными глазами и веселым хихиканьем. Вот когда настал момент отомстить столичной ломаке! Надежда, заботливо выношенная несколькими десятками коварных душ, так и витала на хорах, растягивая безусые рты в улыбки и заливая блеском юные глаза.

Слава Богу, что «Козел» ничего не заметил. Как обычно, невозмутимо поднял он вверх свои белые ручки, проблеял направо, проблеял налево, давая тон, и затянули мы его вычурную панихиду. Фактически, мы, если б даже и хотели, не могли бы петь ее хорошо, потому что на самом деле не разучили еще, как следует.

Поем мы, а сами, как будто нечаянно, все сбиваемся с «козлиного» напева на напев Саввича. В конце концов, «Козел» махнул на нас рукой: пойте, мол, как умеете. И запели мы по-саввически. Да так хорошо, что опять по храму, как в прежние, «до козлиные времена», разлилось молитвенное настроение. Наше пение подействовало на всех. Дьякон стал как-то особенно с чувством кадить и торжественнее раскланиваться. Почувствовалось умиление и в лицах молящихся. А наш чувствительный директор, скрестив на груди руки, даже глаза закрыл от полноты удовольствия.

Все так хорошо, и все так довольны, и вдруг. . . в месте «и вознеси печали моя» верхние дисканты пустили отчаянного «петуха» и сразу оборвали.

«Козел» встрепенулся, завертелся. Он, конечно, даже и не предполагал, что «петуха» этого мы келейно разучивали несколько недель. А остановились в этом месте потому, что уж очень хорошо выучили остановку.

«Козел» же решил, что хор сбился и, призывающе взмахнув своими выхоленными ручками, подбадривающе замотал нам по-козлиному головой и при гробовом молчании хора один на всю церковь картаво проблеял своим дребезжащим тенорком: «яко зёл» («яко зол» — гласят слова песнопения).

В первый момент после этого было такое впечатление, будто на хорах что-то тяжелое упало: от колоссальной удачи каждый мальчишка радостно подпрыгнул на месте.

Дьякон, как услышал блеяние: «я — козел», как раскланивался со священником с длинной свечей в руках, так и остался в полупоклоне: спину ему прострелило от удивления. Едва разогнулся бедняга и поспешно ушел в алтарь, дабы не впасть во искушение.

Батюшка же, строгий и очень религиозный, прямо позеленел от возмущения.

А с директора вмиг соскочило все его молитвенное блаженство. Скрещенные на груди руки сами собой упали по бокам, глаза широко раскрылись и стали совсем как две плошки, что были засвечены перед Распятием.

Остальные гимназисты по всей церкви враз радостно прыснули.

Эффект был потрясающ.

«Козел» же, после публичного признания в своей козлиной породе, заикаясь и гнусавя что-то под нос, со страшной быстротой скатился с хор и через северные врата прибежал прямехонько в канцелярию, схватил бумагу, перо и тут же, без передышки, еще горя возмущением, отписал заявление об уходе.

Директор выражал, конечно, официальное сожаление: «Так что... Случилось несчастье»... Но понимал, что оставаться «Козлу» регентом после происшедшего скандала нельзя. Проходя же мимо хора, директор (будучи в душе сам большой озорник), с искрящимися глазами, одобрительно прошептал: «Молодцы! Здорово разыграли! Правда, немного переиграли: веселый фарс получился вместо панихиды, но... ничего».

Мы добились своего: «Козел» ушел из регентов нашей гимназии, «Козла» у нас больше не стало.

ОГЛАВЛЕНИЕ

Рассказы Буки Букича Букашкина